

Иоланта Сержантова

Лето будет сниться...



# Иоланта Ариковна Сержантова

## Лето будет сниться...

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69434986](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69434986)*

*SelfPub; 2023*

*ISBN 978-5-00207-316-0*

### **Аннотация**

Сборник рассказов, новелл и эссе о природе и людях, для которых любовь к Родине и патриотизм не пустые слова. Патриотизм бывает всякий – есть тот, что легко сдувается встречным ветром. а бывает иной, который рождается вместе с человеком и растёт с ним всю его жизнь. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно. Рекомендуется для внеклассного чтения.

# Содержание

Никогда	6
Только что...	8
Я счастлив...	10
Наперегонки с собой или Очевидное	13
Взгляд в небо	15
Паук	17
Жизнь	21
Вчерашний батон	23
Неким майским полднем...	27
Совість	30
Распутье	33
Чаяние	35
Скорее б выходной...	37
Кукушка	40
В сей же час...	42
Зима из детства	45
Не от хорошей жизни...	47
Ливень	49
Слизняк	51
Случай	53
Люди...	55
Всё одно...	57
Корни	59

Так не бывает	61
Сватовство	65
Конфета	68
Бражник	71
Невозвратный билет	73
Запоздалое	76
Слон	80
До слёз	84
Змея подколотная	87
Мазанные одной миррой...	89
Воля к добру	93
В этот самый мигт...	95
Ранний звонок	97
Ждём...	100
Сколь ни было б лет...	102
Голуби	105
Не зря ж оно так?..	107
Так нельзя!	109
Чего ж вам...	112
За накрытым столом...	114
Мы из СССР	116
Придёт и ваш черёд	118
Такое счастье...	122
Сам не знаю, зачем...	125
Как бы не так!	127
Искренне, с любовью...	129

Твоё дело	132
Маленькое... черное...	134
... Чем питает себя земля...	137
Вот, собственно...	139
Зачем и почему...	141
Анодонта	143
Родители	147
Разве это возможно	149
Если присмотреться...	152
Отражение	154
Чужие милые края...	157
Один славный день...	159
Лето будет снится...	163

# Иоланта Сержантова

## Лето будет сниться...

### Никогда

Судя по тому, как повсюду под ногами разбросаны крошечные половинки яичных скорлупок, май готовит себе яишнку. Яишня брызжет звонко, шкворчит на разные голоса, а жизнь посматривает, алчно потирая ладошки, и сглатывает слюну, удерживая самоё себя приступить к трапезе раньше времени...

Токмо время-то и не церемонится, празднует молча, за обе щёки. Птенцы сперва крепнут, растут, после взрослеют, и, в известный срок также заводят детишек, приближая свой конец. Впрочем, они не рассуждают про это, будто позабывшись, либо не ведая, а просто радуются жизни, теплу и прохладе, серому небу и голубому, солнышку и дождю. Коли когда с кем беда, то, если могут помочь – спешат подсобить, а не вышло: «Только бы не со мной, только бы не со мной, только бы не со мной...» – Глядишь, и обойдётся.

Ветер заботливо расчёсывает свалявшиеся локоны деревьев, лишённых листьев. Напрасно. Птицы и те сторонятся их. Ежели нету сил испытать земных соков, насытить почки,

чего ожидать теперь от деревьев? Мало ли в какой час задумают они прилечь. А там уж и сами распадутся на рваные куски, и всех, кто подле, разломают в лохмотья. От таких лучше держаться в сторонке.

Конечно, бывает, что одумается дерево, да почнёт наспех покрываться мелкой листвой, как веснушками. Только всё одно, – не будет ему больше веры. Ни-ког-да...

Май готовит себе яишенку...

# Только что...

Взросление. Что оно такое? Утраченная уверенность в своих силах, предательские морщины у висков, искры седины, отражающие сияние солнечных лучей? Скорее, – понимание своей ничтожности и значимости, которая не в самости, но в бескрайней доброте ко всему округ. А также, когда осознание общности мира, родства с ним, утерянное немного спустя после рождения, появляется вновь... и ты, ощущая то с каждым мгновением, что роняет в землю дождевыми каплями время, можешь с усталой мудрой улыбкой наблюдать за суетой прочих, которые не доросли, не состарились ещё до того.

– Передо мной вся жизнь впереди, – с высоты своих шестнадцати говорит один, а другой, которому едва за сорок, с ужасом в глазах, шепчет на ухо при встрече:

– Ты знаешь, только-только начал постигать, куда попал и как тебе повезло, да что оно такое, всё вокруг, и особо про мир, что невероятно уютен и прекрасен, а тебя уже просят на выход. Идите, мол! А в спину дышит неровно очередь из следующих, которым неинтересно ничего, кроме себя самих.

Упиваясь преходящим, они манкируют вечным, им недосуг поднять голову, посмотреть на луну, на бледное небо, ли-



шённое румянца вечерней зари или прислушаться к мелодии ветра, которую напевает он, вымешивая тесто облаков, дабы слепить причудливые, пышные куличи, крендели и бублики.

– Передо мной вся жизнь... была или промелькнула только что.

# Я счастлив...

- Санта Мария!<sup>1</sup>
- Муть это всё!
- Не к спеху.
- Без сомнений.
- Donnerwetter!<sup>2</sup>
- Дурацкое дело нехитрое.
- Со страшной силой.
- Толково...

Кажется, только-только я слышу эти слова впервые, принимаю их за данность, совершенно не понимая сути и смысла, как уже сквозь сон за стеной чуждаются звуки шагов слившегося с небытием отца. Вросшие в почву, опутанные корнями вен ноги, голубые от долгого стояния за кульманом, как говорят – натруженные, недолго носили его по земле, куда как меньше отпущенного.

До поры до времени, – тоже одно из отцовских словечек, – мне не было ведомо ничего про каракку<sup>3</sup>, на котором заплу-

---

<sup>1</sup> святая Мария: Дева Мария – Богородица. Мария Египетская – христианская святая, название судна, на котором Колумб открыл Америку

<sup>2</sup> Гром и молния!

<sup>3</sup> исп. Carraca – большое парусное судно XV-XVI века

тал Христофор Колумб, но в папином голосе неизменно слышалось дуновение закипающего страстью моря, виделась выбеленная биением о берег, выцветшая на солнце пена волн, а неверное, с точки зрения «сухопутных крыс» ударение в слове компАс, возвышало его над остальными, делала особенным, не таким, как прочие двуногие.

Папины выражения, почерпнутые из нечитанных пока книг, подсаживая разговорную речь, придавали ей особый вкус и приятность. Иногда, как казалось ни к чему, отец хлопал себя по животу, и подпалив мать игривым взглядом так, что она краснела, напевал красивым тенором:

– Не женитесь на курсистках, они толстые, как сосиски, а женитесь на медичках, они тонкие, как спички.

Бывало же, он насвистывал нечто симфоническое<sup>4</sup>, с затуманенным, подведённым к потолку взором, и казалось тогда, что автор музыки подслушал некогда папин лёгкий, как предштормовой сквозняк, свист, и переложил его на нотный стан.

Странно, но я не могу вспомнить цвет глаза отца. Кажется, они отражали все оттенки морских глубин, а может и нет, но его слова, сказанные однажды как бы промежду прочим, явно не просто так, часто всплывают в памяти, и лежат ли-

---

<sup>4</sup> общее название классической музыки

стом кувшинки на виду:

– Я счастлив, только когда лежу на дне и смотрюсь в зеркало поверхности воды...

# Наперегонки с собой или Очевидное

Жизнь, что бы там ни надумывали про неё, состоит из простых радостей. Таких, о которых вспоминают со слезами, сидя на склоне лет, усеянном камнями надгробий.

– Про что там вспоминать... – Вздыхает вслух некто, и отвечая себе, ибо рядом больше... давно никого нет, добавляет, – Да хотя бы про уют тишины за накрытым столом, когда каждый жуёт на свой лад, стараясь соблюсти приличия, дабы не стать источником неудовольствия прочих.

Трапезничая в одиночестве, быть может, можно было бы и не манерничать, но лучше, всё-таки, если дан к тому случай, проследить за визави через нежный пар над чашкой чаю, и улыбнувшись сочувственно, спросить одним лишь взглядом:

– Вкусно же, правда!?! – И получить согласный ответ. Не кивком даже, но удовольствием, что в порозовевших на встречу вниманию ланитах, смеющихся глазах, вскинутой к причёске неширокой брови. Не всерьёз, так только, из одного лишь лукавства.

А после, всё так же в тишине, прерываемой плеском мыльной воды или чистой, льющейся родником из одной вы-

мытой чашки в другую, под приятный скрип по фарфору холста, взятого из стопки высушенного жарким дыханием солнечного ветра, – переглядывания и беззвучный смех, трепет узких ноздрей в сторону аромата цветущей вишни, что доносится из сада, сквозь приоткрытое нарочно окно.

И пусть дальше всё, как всегда: стук каблуков по крыльцу, зацепившаяся бахромой за ручку входной двери шаль, сорванная сквозняком от воды шляпка... Оно всякий раз иначе, как несорванный одуванчик, наивно распахнувший небу объятия лепестков, а подле него – седой, но не утерявший ещё прядей. И вот стоят они рядышком, как отец и сын, рассматривая божьих коровок, клопов-солдатиков, гуляющих мимо попарно, скользящих мимо, поперёк себя уже, ужей, и обмахивают их веером крыл мотыльки, что растрачивают наскоро свою короткую жизнь так, как умеют – красиво, на показ, со вкусом, наперегонки только с собой.

Жизнь непроста, но состоит из радостей, очевидно простых и очевидных.

## Взгляд в небо

Едва схлынул румянец вечерней зари, и вот уже небо бледно, будто припудрено. Принаряжаться, дабы достойно встретить ночь, у него давно уж вошло в привычку. Для того, чтобы казаться привлекательным, надо не так уж много, – мушка Венеры на щеке, вуалетка созвездий не скрывающая, впрочем, озорного взгляда луны, и загадочное молчание, на любое «Ах! Почему?! Вы здесь одна или с кавалером?»

– А какая разница, сударь, – могло бы поинтересоваться небо, – в одиночестве я, либо сопровождает меня кто? Собрались приударить?! Ну-ка, ну-ка, интересно будет поглядеть, как вы справитесь с этим!

В самом же деле, воздыхателей у неба не так уж и много. На него глядят чаще по нужде, нежели из прихоти. Кто-то воздевает глаза к небу в мольбе, иной – чтобы скрыть слёзы или глянуть, не идёт ли дождик.

И только малая часть тех, которая могла бы сделать всё иначе, всматривается в глаза небу с откровенным восхищением:

– Нет, вы только полюбуйтесь! Небо словно прячет глаза в пышный воротник облаков, а у тех вышивка по краю серебром...

Таких восторженных, подчас, причисляют к чудакам, ещё чаще – к недалёким. Ежели небосвод по большей части чист и только мелкие тёмные тучки зависли с его края, то они же говорят тогда, что небо, похоже, выщипало себе брови для пушей красы. А под безоблачным эти чудаки молчат, потупившись презрению тех, которым, в таком разе, «не за что зацепиться глазу» и ни за что они не станут «пялиться ввысь, а не себе под ноги за просто так»...

Только вот подумали бы такие, что, коли б больше смотреть в небеса просто так, то, может статься, пришлось бы реже и с мольбой...

– Да... Нынче небо не так бледно, как напудрено...

– Не иначе, бабочки поделились с ним, натрясли, сколь могли, со своих крыл...



# Паук

– Можешь меня не благодарить, я его убил!

– Кого?! Чем?!

– Паука! Туфлёю!

– Зачем?!!!

– Ну... как?! Паук же! Зашла бы в кладовую за чем-нибудь, увидала, напугалась, обронила б свечу, наделала беды...

– Это ты наделал... фигляр! Где он?

– Кто?!

– Тот, с кем ты так страшно поступил!

– Бросил в печь! И... оскорблять меня из-за какой-то букашки, по-меньшей мере невежливо...

– Этот паук был моим товарищем!

– Да ты явно не в себе. Все честные девы обязаны пищать при виде мышей, лягушек и пауков!

– Странные у тебя представления о чести, – возмущалась девушка, и завернув широкие рукава повыше, полезла в печь, благо, её ещё не успели затопить.

Припорошённый пеплом под<sup>5</sup> был пуст, на нём не оказалось ничего, кроме разве похожего на скатанный промеж пальцев комок ниток, в котором угадывался паук. Тот был

---

<sup>5</sup> нижняя часть горнила печи

чрезвычайно напуган, но при внимательном взгляде – невре-  
дим. Устроив паука у себя на ладони, девушка отошла к  
окошку, и, приговаривая шёпотом нечто ласковое, приня-  
лась гладить его по спинке. Тот через короткое время рас-  
слабил свои члены, и пошевелив лапами, как усами, попро-  
сил отпустить, что и было немедленно исполнено.

Девушка с грустной улыбкой проследила за тем, как паук  
скрылся за приоткрытой нарочно дверью в кладовую и заго-  
ворила:

– Днём я бываю занята чем-нибудь, и не успеваю понять,  
насколько одинока, по вечерам же, когда темнота обступает  
со всех сторон, мне делается немного страшно. Не помогает  
ни молитва, ни рукоделие, и тут, словно чувствуя моё заме-  
шательство, в комнату заявляется этот самый паук и устраи-  
вается у ног. Я поверяю ему свои тревоги, рассказываю, что  
делала в течение дня, думала о чём, а паучок внимает молча  
и делается намного легче от того...

– Ты полагаешь, насекомое разбирает человеческую  
речь?!

– Какая разница... Достаточно того, что он оказывается  
рядом в нужный час, хотя иногда мне чудится, что паук хо-  
рошо понимает меня. Лучше прочих. – Добавила девушка,  
и многозначительно поглядела на визави.

– Ну, теперь всё это в прошлом! Я буду рядом, тебе не

придётся грустить в одиночестве. Переедем в столицу, сюда будем приезжать на лето...

– Одиноким можно быть даже в московской толпе на балу, оно не зависит от того, какое количество людей окружает, но сколь из них понимают, кто ты таков, и думают в такт порывам твоего сердца.

– М-да? Полагаешь? Ну, то пустое, за хозяйством и хлопотами, несть места баловству!

– Ты про что?

– Да про думы всякие. Это всё, известно – бабское, капризы.

– Ах, вот оно как... – Покачала головой девушка. – Будь по-вашему. Думаю, лучше, если вы теперь же уедете. Прощайте.

– Ты... «на Вы» со мной и гонишь? Отчего? Ты... Вы играете мной? Или... Что я сделал? Это не из-за такого пустяка, как паук, надеюсь?! Иначе у меня возникнут опасения об вашем душевном здоровье.

– Нет, что вы. Всё из-за вас самих. Вы напомнили мне паучиху...

– Так же приятен?

– Напротив. Вы намереваетесь поглотить меня, как то привыкла делать она. И, дабы оградить вас от напрасных трудов, не ездите к нам больше! С этой самой минуты я брезгаю вами. Раз и навсегда.

...Стук колёс отъезжающего экипажа, вальсирующий его ритм, неожиданно развеселил девушку. Отчего-то ей стало легче дышать, и закружилась она по комнате, отсчитывая вслух: «Раз-два-три, раз-два-три...», как некогда, недавно совсем, делала это, шаркая по паркету зала гимназии на пару с такой же как она, восторженной и наивной барышней, под строгим взглядом через пенсне классной наставницы. Теперь же за нею, не скрывая мохнатой улыбки, подглядывал из кладовой паук.

Кстати, он и по сию пору вечерами выходит послушать про житьё-бытьё девицы. Только нынче, не в пример давнего, не стесняясь забирается на туфлю, ибо знает наверное, что её никогда не пустят в ход противу него самого.

# ЖИЗНЬ

– Нет, ну кто так делает?! Вот все вы, мужчины, таковы, не приучены к порядку. Сперва за мамкину юбку держаться, после за подол супруги. Бросил и пошёл, а я за ним убирай!

– Да нет же, ты не поняла! Я это только потому, как спешу...

– А я по-твоему медлительна, что ли? Копуша?!

– Что ты, что ты! Я совсем не то хотел сказать...

– Так ты всякий раз чепуху говоришь! Когда ты кряду-то?!

Из тебя слова клещами не вытянешь! Спросишь что – молчание мне ответом, словно воды в рот!

Расстроенный супруг понял, что прямо теперь ничего не добьётся от своей благоверной, махнул... крылом, и улетел. Он и вправду очень торопился. Неподдалёку разметало ветром пряди свежескошенной травы, уже достаточно подсушенной, чтобы не испортить лукошка гнезда, но ещё довольно податливой, удобной для плетения уютного ложа будущим ребятишкам. Так как охотников на то богатство было больше, чем самой травы, и надо было успеть насобирать довольно, дабы после не метаться в поисках.

Он раз за разом возвращался за следующей травинкой и набросал их полную корзинку, да посыпались они через

обрушенный ещё прошлой весной край... Но то было уже неважно, – трава лежала горкой с исподу, прямо под гнездом, на самом виду, так что не позарится на это сокровище ни одна птаха, любая понимает, каково оно, плетельщику под приглядом строгой супруги.

Эти две ласточки, ещё влюблённые, семейные уже не первый год, хорошо понимали друг об друге: каковы они и на Родине, и на чужбине. Он был надёжным, хотя и ребячливым, она слыла скромницей и хлопотуньей. Ей очень хотелось завершить ремонт и обустройство гнезда нынче же, чтобы осталось немного времени пожить для себя.

– Дети это прекрасно, но с ними столько забот, что некогда посмотреть по сторонам. За готовкой и уборкой проходят мимо незамеченными все красные деньки, а после, как встанут птенцы на крыло, – их ученье, приготовление к дальнему перелёту... Жить, жить-то когда!? – Сокрушалась ласточка, а супруг молчал сочувственно, любовался ею, раздумывая о том, что вот она, настоящая жизнь, такова и есть, когда для других, как для самих себя.

# Вчерашний батон

– Веди-и Будёный нас смелее в бой, пусть гром гремит...

Мы бе-е-ззаветные герои все, и вся-то наша жизнь борьба...

– Пел, постукивая палкой по асфальту, невысокий дедок в пиджаке, украшенным наградными планками «слева по борту» и зелёной ученической тетрадкой в кармане, подходя к средней школе, ничем не примечательного города N., вросшего некогда в берег неширокой реки. До войны, той, недавней, Великой Отечественной, гуляющие спускались к воде по широким ступеням белоснежной лестницы, от которой каким-то чудом теперь остался один небольшой пролёт, в самом начале, на холме.

Дед вставал рано утром, чтобы первым услышать, как прокашляется лопух динамика в кухне, и стоял, вытянувшись в струнку, под звуки Гимна страны, смотрел невидящими глазами через окошко на безлюдную ещё улицу и плакал. Немного погодя, он делал зарядку, обтирался холодной водой, после чего облачался во всё чистое и выглаженное собственноручно через мокрую тряпочку, и опустив ноги в заранее вычищенные ботинки, отправлялся в гастроном.

– Сегодняшнее?

– Молоко не берите, возьмите лучше ряженку, хлеб ноч-

ной, батоны только привезли, но есть и вчерашний...

– Давайте.

– Горячий?

– Нет, вчерашний! Я такие тоже люблю! – Обнажив стёртые до дёсен зубы, улыбнулся дедок.

Скрипя расшатанными керамическими плитками влажного пола, покупатели терпеливо ожидали пока разгрузят варёную колбасу, а заодно нарежут проволокой на небольшие, в полфунта, брусочки, прямоугольный параллелепипед сливочного масла. Грузчики, надрываясь попарно головками сыру, были красны не столько по причине тяжести ноши, сколь из-за удовольствия от её приятной сытной духовитости.

– Какой сыр-то нынче, любезный? – Не выдержав приличия не говорить под руку тому, кто нагружен, спросил грузчика аккуратный с виду, немолодой, но крепкий ещё гражданин. – Костромской или Российский?

– Российский! – Розовый от натуги отвечивал менее усердный работник. – И волна сладкой, слегка творожистой от того на вкус слюны, оросила рот вопрошающего, ибо ему давно был знаком неизменно приятный вкус того сыра.

Отстояв положенное в очереди к прилавку и в кассу, покупатель поспешил домой. Батон с плотной хрустящей короч-



кой растягивал румяной щекой вуаль авоськи. Набравшийся теплоты от свежих, молодых своих собратьев, он близоруко присматривался к вымытому ночью тротуару.

Страсть, с которой батон глазел по сторонам, заставил брусок масла потеть, таять с одного боку, липнуть к серой бумаге, в которую был обёрнут, отчего та тоже занервничала и покрылась тёмными пятнами. И только сыр держался в рамках дозволенного, упорствуя в своём намерении выказать силу характера позже, когда отрезанный от него «на пробу» тонкий, прозрачный почти, цвета плавленного белого янтаря кусочек, – «Ну, пока заварится чай..!» – лишит дара речи владельца авоськи, мешая ему выговорить не то «параллелепипед», но любое другое, что придёт на ум: к примеру, «Ке-фер» или «Сольфеджо». Впрочем, кроме «м-м-м...» с воздетыми к потолку бровями, с набитым-то ртом! – в голову ему, всё одно, не взойдёт ничего.

Вкусив со сладким, крепким до черноты чаем пару кусков булки с сыром и сливочным маслом, закинув в рот немногие крошки, собранные со скатерти в горсть, наш покупатель достанет из почтового ящика на входной двери газеты, наденет очки и перечтёт их все, а после примется записывать в тонкую ученическую тетрадь с зелёной обложкой: и о политической обстановке, и про успехи страны, и про надои молока и урожай зерна. Ведь ему не всё равно, ему до всего есть дело,

потому-то и воевал: за свою Родину, за оставшийся на месте  
лестничный пролёт, за тот сыр, да даже за вчерашний батон,  
он тоже его, от первой до последней крошки...

## Неким майским полднем...

Прогуливаясь собакой неким майским полднем, мы невольно отдавали предпочтение аромату пропитанных дёгтем шпал перед влажным дыханием смешанного леса. Комары сильно донимали нас, но сидеть взаперти, им в угоду, не хотелось никак. Дискант комариного детского хора в сопровождении струнных, где особо выделялся контрабас майского жука, принуждал всё время двигаться, – стоя на месте или быстро шагая вперёд, неизменно оставаясь под защитой аромата берёзовой смолы<sup>6</sup>.

И тут, за спиной горячего и порывистого Нотуса<sup>7</sup>, который двигался нам навстречу, мы увидали не призрачный шлейф грядущих туманов и дождей, как бывало уже не раз, но нечто иное. То, что будто почудилось, заставило идти, как ни в чём не бывало, дабы не спугнуть, не нарушить странность минуты или самим не показаться странными со стороны, ибо во всяком уединении ты всё ж никогда не один.

Где-то неподалёку, на берегу пруда дрозд стирал запылившиеся некстати жабо и манишку, дабы они успели просох-

---

<sup>6</sup> дёготь

<sup>7</sup> бог южного ветра, сын зари Эос и бога звёзд Астрея

нуть до заката. Там же, балансируя на ветке вишни, низко свисающей над листом кубышки, щегол выделявал па, манкируя лонжей паучьей нити и батудами его паутин, к стати развешенных у самой воды...

Мы всё больше бежали, чем шли, когда он возник на наших глазах, да не враз, а словно тёплый ветер изваял его влажными руками, употребив для этого первое, что оказалось под рукой – дорожный песок. Нежный, тонконогий, с мягкой на вид короной рожек, покрытых тонким бархатом кожи, он будто бы соскочил с рождественской ели. И сперва, сквозь марево жара, струящегося от земли, даже показался хрустальным.

Заворожённые увиденным, мы собакой позабыли отмахиваться от насекомых, а те – ненадолго про нас. Расстояние меж нами и ним сокращалось неумолимо, а он всё стоял и стоял, посматривая то в нашу сторону, то через дорогу, а то оборачивался на лес.

В самом деле, он вероятно бежал от разъярённой толпы нимф в прозрачных хитонах, но нам, разумеется, хотелось думать иначе. Хотя бы про то, что он вышел нам навстречу просто так, – пожелать хорошего дня, лета, а быть может даже и лет.

- Да кто же то был?
- А разве ж я не сказал?
- ...
- Олень. Молодой олень...

# Совість

А и набей перину хотя пухом из одуванчиков,  
да и то не заснёшь, коли совесть нечиста...

Автор

Навязчив дуэт комара и ветра, один насвистывает, другой вторит фальцетом, тянет скрипичным ключом<sup>8</sup> отпереть ворота бесконечности. Сплелись их голоса в один, непокойно от того. Желается поскорее загородиться от них закрытой дверью, задёрнуть пологом окно, дабы не видеть, как ломают копыя о стекло комары, не следить взглядом за их кружением, да за тем, как ветер гнёт долу верхушки дерев, склоняя их повиноваться.

– Да кто же там топает всё время...

– Где?

– На чердаке. Я думал ветер, дверью, так заперта она, я проверял.

– Там кошка. Котилась на днях, теперь рОстит<sup>9</sup>.

– А чья ж?

– Соседей. Приходили давеча, просились на чердак, котят

---

<sup>8</sup> нота соль

<sup>9</sup> рoстит / Толковый словарь русского языка: В 4 т. – М.: Гос ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 1935—1940.

забрать, я не пустила.

– Чего?

– Утопят. Жалко.

– Правильно не пустила. Кошку тоже не отдавай, после ещё и кота у них заберу, а то видала, где зимовал?

– Видала, между стёкол, даже в мороз в комнату не пускали.

– Это ж сердца не хватит, смотреть на то!

– Ну, это если оно есть... Как им самим-то спится в тепле, когда животное мёрзнет, не понимаю. У нас вот с тобой и то душа изболелась, а мы его слепым не видали, молоком не поили, не дышали над ним, чтоб согреть.

– Так и те не поили – не кормили! Кинут ежели когда сухую корку, и то хорошо, да и пил он у колодца, а то из лужи. К нам во двор приходил, всё никак не мог наестся. Поставлю на крыльцо горячее для собаки, чтоб остыло, а он прямо в кипяток норовит. А хозяева-то, как увидят, назад его требуют, мол, не ваша скотина...

– Знаешь, а я прямо теперь схожу и заберу кота. Нет мочи дольше терпеть.

– А как же ж это? Соседи-то дома...

– Пускай видят! Через окошко за шкурку вытяну, а там как хотят!..

– Чего это кот наш хромает?

– Не бойсь, боле, чем здоров, я проверил! Это он так, что-

бы жалости у нас к нему не убавилось, часом!

– Во, дурной... Пойду-ка я ему пельмешек отварю, больно он их любит.

– И мне заодно!

– А то ж! Само собой.



# Распутье

Распутье. Принимаю его, как данность. Не призрачным правом выбора между плохой дорогой и той, что похуже, но оправданием некой не вовремя задумчивости. Поводом погодить, замедлить собственный шаг, и, глядишь, время тоже постоит рядом, перестанет спешить.

Цветок мака оттенка чертополоха совершенно одинок среди алых собратьев. Он как принятый в семью из жалости, не для себя, а в угоду Провидению, дабы не согрешить презрением. Да тем и грешат, что не от сердца.

Сиреневый мак тянет короткое платьё на худые коленки. Забыв себя, заглядывается на надкусанное ветром облако, на ласточек, что взбивают перину грузных и грустных от того туч. Мак порывист и страстен, рвётся душой навстречу всему, что видит, так что к полудню не остаётся от него ничего, кроме тонкого, видимого едва стебелька, а горсть нелепых сиреневых лепестков, утерянных им, отыщется позже в волосах травы, проступит, как седина или морская соль после купания.

Обрезанное горизонтом облако кровоточит дождём где-то там, куда прогнал его ветер. Неровно обрубленный плат

небес ярк, и ты стоишь, как тот мак оттенка чертополоха, не принятый прочими, любишь небо и вкушаешь от его пирога, от остроконечного ломтя с зажаристой корочкой леса по обе стороны дороги... вступил на которую, миновав распутье, даже не заметив – когда...

# Чаяние

– Чаю<sup>10</sup>! Чаю!

– И я!

– И ты?

– И мне!

Кто о чём, который про что, не всякий то разберёт. Только и захочет не каждый, да и смогут не все.

Один думает о чём-то, другой уповает на нечто, третий ожидает чего-то с надеждой, что оправдаются его предположения, а иной не мудрствует, говорит, как есть и лишь просит:

– Чаю, чаю...

– Да чего ж вам?! Про что каприз?!

– Мне б заварочки и рафинаду пару кусков...

– Так вы про это?!

– Ну, а про что ж то может быть ещё?

– В самом деле... про что ж ещё оно может быть. Сейчас принесу. – Вздыхает визави, не в силах скрыть разочарования.

Это если рассуждать про нас, про людей. Что до птиц, так, коли воскликнет которая ласточка: «Чаю!», то в этом

---

<sup>10</sup> думать, полагать, заключать, надеяться, уповать, ожидать, предполагать

и чаяния её на взаимность, и призыв, и сердечный привет, а червячка она сама отыщет, добудет, принесёт, не спросившись, не упредив о том никого. Положит так к ногам, и тут же прочь, за другим. Не токмо сердечному другу, не одним птенцам, а и обронит что нарочно, поделится с менее расторопным, удачливым не так. Без лишних слов. Не растолковывая ничего и никому.

– Чаю! Чаю!

И это так славно, ибо подумать, оно никогда не помешает, никому.

– Так что вы давеча имели в виду?

– Когда это?

– Да про чаяние что-то или я не расслышал...

– Показалось вам, батенька. Пейте-ка лучше чай, а то простынет.

## Скорее б выходной...

Есть нечто, не подлежащее возврату. Я не про время, его хотя как-то можно умастить и разбередить в себе ребёнка, повесу, что выбирая между небрежной, беспечной юностью и взрослением, когда ты обязан всему округ, не знает, к чему прибиться. Хочет казаться солиднее, но страшно и, кажется, что нет в том нужды, а вокруг все только о том и говорят: «Когда же ты повзрослеешь, наконец!»

Пропустив, словно скорый поезд, идущие мимо годы, растерявшемуся на перроне жизни почудится внезапно запах бабушкиных котлет, пробежит он холодком сквозняка по ногам из-под двери суеты буден. Перед тем, как растаять во рту, изнывали те котлетки под исходящей вкусным паром подливой, что стыла даже на горячей тарелке, и оставляла после себя узор, кой так хотелось слизнуть.

– А... ну что я, в самом деле, как маленький! Вот возьму и оближу тарелку!

– Давай, действуй... – Разрешит совесть. – Тарелка твоя. Только нет на ней той самой котлеты, да и бабушки нет на свете давно...

Подчас, в годовщину того самого дня, когда с криком боли впервые раскрылись вздохом лёгкие, случается уловить

сквозь сон сладкий аромат торта, испечённого мамой ночью, дабы «настоялся к утру». Хотелось зажмуриться, и не открывать глаз как можно дольше, в попытке удержать мгновение из прошлого века, ухватив его за что придётся, – за вялые от безразличия ко всему руки, за неизменно волочащуюся по полу полу ветхого плаща... Да, какая, собственно, разница – за что! За-дер-жать!!! Хотя знаешь,, что это напрасно.

Озарения чувственной памяти, сосуществующей с нами в недолгий промежуток времени бытия, чрезвычайно редки. События жизни – куличики из песка, из мелкой мозаики милых мелочей, чуждых мелочности, ибо каждый из фрагментов во-истину бесценен. Только выбираем и пестуем мы лишь красочные, яркие, а прочие вянут, избежав внимания. За что мы с ними так?

Они к нам добры и приносят себя в жертву играючи, между прочим, даром. Старательно грунтуя холст бытия собой, в тщете сокрыть от нашей ранимости то, на что он натянут. Мы же, без стремления уважить, почтить, скользим мимо, от одного, кричащего об себе блеска к другому...

Как там шепчется часто? Скорее бы выходной? Прочее в топку?! Не слишком ли расточительно? Безоглядность, знаете ли, дурное свойство.

– Который теперь день недели, дед?

– А я почём знаю! – По-детски улыбается тот. – Утро! Гляди утро-то какое!

– Ой... некогда мне. Да ты бы спал. Чего вскочил? На работу не надо...

– Это верно. Только жаль жизни, чтобы тратить её на сон. Ох, как жаль...

# Кукушка

Не одними трелями полощут горло птицы, бывает иным – предзнаменованиями, да ворожкой с гаданием.

– Ку-ку... ку-ку... ку-ку... – Звонит в колокол неба кукушка, собирает к заутрене, нанизывает на шёлк своего гласа бусины мгновений, заставляя встать на пол-дороге, остановиться на пол шаге или вполшаге от замереть. Повторяя шёпотом за вещей птицей, сколь суждено, обмирают до холодного пота, ежели вдруг замешкалась она или притомилась вдруг.

И ведь можно было потратить ту жизнь как-то иначе, чем следовать поверью. Ан нет! Даже когда заблажит кто, фыркнет своенравно на людях, обдаст их презрением или наградит дурным словом, сам для себя запомнит тот счёт, призадумается, загрустит, али возрадуется, – всякому собственная участь, каждому своя честь.

Кивая головой в такт кукушкину звону и загибая пальцы доверчиво, не думается про то, что всякая минута идёт жизни в зачёт. Хотя, коли по совести, не так уж плохо это обыкновение препровождения времени в никуда. По-крайности, не обидишь никого, не сделаешь никому неудовольствия, кроме как себе самому.



А и натрудилась кукушка, обрывая лепестки вечности, как цвет ромашки, да и полетела промочить горлышко к пруду. Присела в тенёк на мокрый лист, остывает, а дрозд и щегол, что уж были тут, поглядывают на кукушку с опаской. Та то пьёт воду, не торопится никуда, молчит. Ну и те смолчат на всякий случай, да бочком-бочком прочь, дабы не слышать пророчеств и не ведать про них.

– Кукушка, кукушка...

## В сей же час...

Петрич был не только мужем моей тётки, но охотником, и владельцем ружья Sauer. Когда он скончался, проститься с ним приехали некие, неведомые никому из родни, здоровые мужики и так красноречиво вцепились в это ружьё, бормоча «На память», так жарко дышали тётке Тасе в лицо едким паром поминальной стопки, что ей ничего не оставалось делать, как отдать им его «от греха подальше».

Помню, я сидел тогда подле тётки, гладил по холодной руке, а она с ужасом в глазах следила за тем, как через тот же дверной проём, через который два часа назад вынесли гроб с телом её мужа, из квартиры уносят и единственное, что оставалось после него.

– Тётя, не надо, успокойтесь. Вам же оно не к чему. Залезут ночью, пальнут в вас из этого же самого ружья. Арбат не Хитровка, но сами знаете, бережёного...

– Петрич его люби-и-ил... – Разрыдалась, наконец, тётка Тася, и я понял, что странные товарищи Петрича, тёмные во всех отношениях личности, сделали лучшее, что могли, и тётка сумеет справиться с горем скорее, нежели б рыдала ночами, прижав к себе ружьё супруга.

Надо сказать, я брезговал охотниками до охоты ровно также, как и их орудиями, а Петрича откровенно сторонился, в особенности после признания, что тот сделал мне однажды на берегу реки, где семья устраивала складчину по поводу моих именин.

Разглядывая бабочку, усевшуюся на колено, Петрич прои́знёс вслух, как бы изумляясь самому себе:  
– Знаешь... я впервые не хочу её съесть.

И я едва сдержался, дабы тут же не отстранится от него со всею откровенной брезгливостью, присущей юности.

Быть может, в начале своей жизни Петрич был мягким, незлобивым, доверчивым ребёнком, нежным молодым человеком, но судьба проявила над ним свою волю, изжевала беззубыми дёснами, бросила наземь, истоптала, изваляла в пыли... не страстей, но того низменного, обыкновенного, что равняет всех округ, – животных, птиц и людей, – голод. Достоинно справится с ним, то же самое, что умереть. А поиному – означает выжить, подчас ценой потери человеческого облика.

После ухода Петрича, я стал часто бывать у тётки, дабы не оставлять её в одиночестве, но в начале лета мне при-

шлось-таки уехать с геологической партией до самой осени. На следующий же день после возвращения домой, я отправился навестить тётю. Обыкновенно красиво наряженная, причёсанная, с подведёнными глазами, теперь она была неодета, а нетронутое пуховкой лицо совершенно бледно.

На мой молчаливый вопрос, тётя медленно, словно в полусне повела плечом, и блеклым, в тон щёк голосом, произнесла:

– Одной плохо. Если не надо в булочную, целыми днями хожу, не снимая пижамы. Петрич бы такого не позволил. Обязательно, всё же, слышать чьё-то дыхание рядом, и чтобы было кому поглядеть в глаза через пар от чашки чаю поутру...

– Тётя, как хорошо вы сказали!

– Жизнь , жизнь надиктовала мне эти слова. – Вздохнула тётя. – Жаль, так поздно. В пустой след. Раньше я не замечала этого, и часто хотела побыть без никого.

Не замечала тётя и слёз, что ручьём бежали из её глаз. Чтобы не смущаться, я отвернулся к окошку, где таяли листья, прозрачные по краям от стекавшей с них дождевой воды. И это было так волшебно и так страшно, в сей же час.

# Зима из детства

Капли дождя за окном, как неисправные ходики: то спешат, то замедляют счёт мгновений, и несть той силы, что заставила бы их остановиться. Лишь только когда иссякнет пролитая небом вода, оботрёт солнце округу горячей, отутюженной только что ветошью, тогда и кончится завод тех часов. Впрочем, они и зиму по-большой части стоят. Со-мкнутая морозом, прижатая сугробами их пружина тяготится тем, что лишена дела, как сна. Но до того ещё далеко, а покуда:

– Ти-ик – так-так-так-так – та-ак...

Ну, пусть хотя так. Отведут душу от края, в жизни крайностей не счесть.

Мальчишками мы частенько ходили на лыжах. Вдевали валенки в кожаные петли из широкого оружейного ремня и – ну, кататься с горок, бегать по лесу, наперегонки, а то и тихо, просто так, подальше, почти что за тридевять земель. Заглядишься, бывало, на голубоватый снег и синее небо, на вросшие в сугробы колонны берёз и мохнатые, пахучие сосны, да спутаешься лыжами крест-накрест, клюнешь носом снег. Товарищи потешаются, а ты в них за это – снежком, ну и они в ответ. Завяжется шутейный бой, позабудешь и про двойку по чистописанию, и про стих наизусть к уроку на зав-

тра, и про то, что мамка хлеба наказала купить и картошки начистить к ужину.

Домой обыкновенно возвращались округ военного городка, через овраг, на дне которого хрустела ледком речка Торгоша. Иногда же мимо ключа, открытого Серафимом Саровским. Там, одна над другой, были устроены две купальни – мужская пониже, а женская, которая выше по течению. Было слышно издалека, как вода хлестала толстой струёй о тугую воду купели. Мужская казалась необитаемой, из неё не доносилось никаких звуков, кроме, изредка, приличного фырканья и молитв. Бесстыдные же от природы тётки плескались, не стесняясь мальчишек, громко ахая от холода, полагая, вероятно, что это облегчит их нарочитые, надуманные, наигранные страдания...

– Так-так, так-так... – В ответ на воспоминания соглашались ходики дождя за окном, и топчут мягкую от воды землю чистыми мокрыми пятками капель. Хотя... что они могут знать о той, из детства, зиме...

# Не от хорошей жизни...

Муравьи на заре оцарапали землю. Само собой, не со зла. Копшатся теперь, суетятся, прощения просят, да всё на бегу, мимоходом через плечо. Как бы не всерьёз, понарошку. А земля-то потакает им, как водится, подставляет другую щёку, распахивает пальто на груди, прижимает к себе. «Маленькие ещё», – говорит.

Но когда же повзрослеют?! Когда поймут, что негоже оно, ранить родню.

\*\*\*

Встретить вяхиря в лесу для горожанина та ещё удача. Двоюродный брат городского голубя с красной книжицей во внутреннем кармане<sup>11</sup>, также как и он, первую неделю попеременно с супругой стоит в очереди за молоком, дабы прокормить детишек<sup>12</sup>, но, в отличие от него, чистоплотен, брезглив и вступает в браки исключительно с единоверцами или по сговору ближайшей родни<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> дикий лесной голубь внесён в Красную книгу России

<sup>12</sup> голуби выкармливают птенцов зобным «молоком» желтоватого цвета, содержащим белок и жир

<sup>13</sup> вяхирь птица чистоплотная, избегает загаженных человеком мест, с голубями других видов не спаривается

Заметит ли городской житель голубя, что вальсируя перед подругой у него на пути, воркует гортанно, призывая оценить его по-достоинству? Сомнительно. Пробежит гражданин по своим делам, мимо, а то и топнет в сторону брачующихся:

– Кыш, пернатые! Вашей заразы не хватает ещё! Затеялись тут...

А после как увидит на прогулке лесного голубя, да вздрогнет от его гулкового перепева совиной песни? Может и призадумается, – не так прост голубь, коль у него такая родня. Ну и вернувшись к себе домой, не станет пугать всегдашних своих соседей, присмотрится к ним, вынесет когда птицам чистой еды, поделится подсолнухами, отсыпав из горсти, чтоб не клевали они объедки, ибо не от хорошей жизни эдак-то у городских... голубей.



# Ливень

Сильно упирался ливень, смывая не только утекающий в песок нынешний день, но и вчерашний, само воспоминание о нём. К чему было то его упорство, зачем? – нам того не понять, но лишь изумляться невозможности сделать ни шагу из дому, по причине опасения ощутить на себе тяжесть набрякших от воды одежд. Стеснённые не столь их откровенностью, сколь нашими предъявленными миру изъянами, мы постараемся сделаться как можно менее заметны. Впрочем, пар от спины выдаст нас, а жестокая простуда, настигшая поутру, поможет позабыть и тот стыд, и ту неловкость в движениях...

Как мы, однако, суетны! И ведь был бы повод так хлопотать об своём впечатлении на прочих! Так нет его, и быть не может, ибо всякое живое округ нас куда как приятнее глазу, минуя сонмище украшательств, к коим стремимся по всё время, пока слышим дыхание своё не со стороны, но от первого лица.

Во вчерашнем же дне, с коим ливню уже никак не совладать, были воробей, коршун, и ещё полным-полно всякой прелести, среди которых коралловые капли разбросанных в придорожной траве маков, как сдёрнутые с шеи, осыпавшиеся навсегда бусы.

Воробей же летел, держа равновесие над землёю, довольное для того, чтобы не оказаться притянутым ею магнитом, но недостаточно высоко, чтобы быть замеченным коршуном. Растянутая перламутром авоська в его клюве, свидетельствовала о том, что всё, скормленное потомству – впрок, отчего воробейка был весел и даже отчасти счастлив. Нимало сомневаясь, он тут же отправился за новой порцией провианта, который в большом количестве был представлен на прилавке всего обозримого пространства над лесом. Оно порхало, летало, мешало разглядеть облака, откуда и упал камнем на дорогу коршун, обознавшись. Он ухватил каму<sup>14</sup>, да тут же бросил, и обернулся после на того, кто лицезрел, слёзно умоляя молчать об оплошности.

– М-да... Столько всего. Много в малом. Неужто ливень взаправду думал, что так силён и смоеет память об сём?

– Ну, уж, как повелось. Всяк про себя думает лучше, чем он есть на самом деле.

# СЛИЗНЯК

- Какой ты...
- И какой же я, по-твоему?
- Слизняк!
- Ах, вот оно как... Ну-ну...

...Небо осерчалось неведомо на кого, через недолго ощутило нешуточную без причины обиду, и подступившие к горлу комом тучи разрешились рыданиями, да обильными столь, каковыми не бывали уже давно. На лужах сперва разгладились стянутые сушью морщины грязи, затем перемешанная ливнем слякоть закипела и выбежала за края, словно сбежавшее молоко.

Струи воды сплетались в косы, которые завивались на концах мелкими кольцами брызг, будто пеной, и славно было глядеть на то через окошко, вдыхать глубоко сырой сквозняк, в котором угадывались ароматы сосны, припудренной вымокшей насквозь небесной пылью.

Сразу, как закончился ливень, захотелось выйти, полюбоваться на следы его трудов, на слипшиеся ресницы одуванчиков и украшенные мелкими шарами воды иглами сосен, сверкающими позолотой закатного солнца.

Стараясь не замочить ног, я осторожно ступал по тропинке, покуда не услышал странный звук. То слизень с завидным аппетитом грыз одуванчик, сорванный для него прозрачный рукой ливня. Чисто вымытый стебель, разложенный на столе земли, казалось, испытывал удовольствие от того, с каким чувством хрустел им слизень, и было невозможно пройти мимо, не обратить внимания на эту безыскусное, какое-то откровенно детское пиршество.

– Это ты тут так громко? – Лишь для того, дабы что-то сказать, спросил я, склонившись над улиткой, лишённой лат раковины.

Слизень, свесив для удобства ус на бок, скосил на меня глаз и кивнул с набитым ртом. Он был не в силах оторваться от трапезы, и заразительное его чавканье, будь я немного бесшабашнее, не помешало бы пристроиться с другого конца стебля и составить компанию слизию.

– Ну, долго ты там ещё? Иди ужинать, всё уже на столе! – Расслышал я надменное приказание жены сквозь фату оконного проёма, но впервые за долгие годы супружества, сделал вид, что не слышал. Мы, слизи, умеем за себя постоять иногда...

# Случай

Паучья норка оказалась полна дождевой воды доверху, под намоток! Как ни было густо плетение запаха навеса, как ни спутана казалась подле трава, сумасбродство ливня решило дело в свою пользу. Изливая гнев, ливень не считался с досадою об себе прочих, но видел только своё, не замечая в том неправоты ни на горчичное семя, ни даже на семечко орхидеи<sup>15</sup>. Иссякнув вполне, ливень оробел от внезапного раскаяния и тотчас удалился, прибрав за собой напоследок обрывки облаков, как неотправленных, начертанных сгоряча писем, да обветшавшие по краям, взлохмаченные временем рукописи туч.

И тут уж, наперегонки с комарами, дали себе волю полетать семена одуванчиков. Шурша белыми оборками юбок, вновь зазывно зацвела калина, привлекая верных ей бронзовиков, облачённых в сияющие камзолы изумрудного отлива, по одному на всех лекалу.

Потрудившись опустить взгляд ниже, можно было заметить гусеницу. На нелёгкий свой путь от цветка до зеркала лужи она потратила весь рассвет и даже захватила начало

---

<sup>15</sup> семена горчицы описаны в Библии, как самые маленькие, хотя на самом деле самые маленькие семена у орхидеи

дня. Лоскут тучи, заплутавший в небе, загородил от гусеницы солнце, и напугавшись этого, не думая нисколько, начертала она «Викторию<sup>16</sup>», не выводя, впрочем, за скобки всю прочую жизнь, что заявляла о себе, пользуясь теплом и затишьем.

Цветы отражали солнце, лужи – небо. Среди полевых трав, жёлтых обыкновенно больше прочих, но не от недостатка красок, из-за того, что всякий хочет походить на то, которое ярче, хотя и лучше не всегда.

Паук притомился ожидать, пока солнце вычерпает воду из его норы, и сделав небольшое отверстие в паутине, дал влаге уйти. Позже, штопая прореху, он качал головой, раздумывая о том, что совсем скоро наступит тот час, когда придёт сожаление о напрасно пролитой воде, да её уж будет ни за что не вернуть.

– Вот, так всегда. Коли когда не вовремя...

– А этого никак не угадать. Дело случая, он сам решает, что ему уже пора.

## Люди...

Прохладно. До полудня ещё идти и идти. Неясный лик неба во взлохмаченной ветром луже смущает и заставляет отворотиться. «Смотри-ка лучше за собой», – словно слышится голос неба, отчего пристыдишься до слёз, и задрав голову повыше, дабы не выказать слабости, скрыть замешательство, заметишь облака, что похожи одно на другое, срисованы будто с единственного. Ну и споткнёшься о придорожные камни.

Они малые и большие. Разные. И в каждом мнится некое орудие, выпавшее из рук людей, не знавших иного тепла, кроме того, что идёт от солнца и костра. Очертания тех предметов грубы, как черты их лиц и ступни. А сердца? Должно, мягки, другого просто не может быть ни в коем случае, ибо надо же хотя как-нибудь уравновесить жестокость бытия, что в той самой пресловутой конечности, которую приукрашает всяк, как умеет, но откровенно страшится, даже если не признаётся в этом ни себе, ни другим.

– Как далеко это всё, – скажет один, и непременно добавит, – похоже на небылицу! А если и правда, то минуло то давно.

И тут уж найдётся кому указать на усыпанную камнями

дорогу под ногами. Наклонись, мол, подними, осмотри, да потрогай, – чувствуешь!? Пусть оно и выпало из той, давней руки, но ещё хранит её тепло...

– Что за вздор... – Неуверенно возразит скептик. – Солнце нагрело их! – Но дождавшись, покуда не видит никто, нагнётся и подберёт камень, странный более прочих, широкий с одного конца и острый с другой. Махнёт им, примерится к делу, ухватится половчее...

– Давно, говорите, было это? Да так ли уж?

\*\*\*

– Люди, те, что жили тогда, чтобы они подумали про нас?

– А стали бы? Стоим мы того или нет?..



## Всё одно...

Время неутомимо. Сперва намывает своим потоком из ниоткуда в никуда на лоток жизни людей, поиграет немного ими, словно крупницами золота, полюбуется тем, как блестят они... не на солнце, но тем сиянием, что из глаз. С азартом принимая всё, что преподносит им жизнь, уверовав во все-силие своё, снисходят они к прошлому, сквозь губу рассуждают о настоящем, с усмешкой распоряжаются будущим, и ни за что не имеют в виду небытие. Оно не принимается ими всерьёз, только с бравадой поминают о нём...

А после, как слизывает волнами в пучину вечности кого-то из близких, сталкиваются они с ним, будто струя воды о каменную стену вдребезги брызг. Ледяными руками трогают они ещё недавно тёплые руки, целуют каменный, нежилой лоб...

Что остаётся от показной смелости тогда? Тоска по уюту бесконечных афишных тумб, смятый в шарик трамвайный билет, который ни в коем случае нельзя было потерять когда-то, пропахший розовым маслом галантерейный магазин... Вспоминаются кстати и коричневые, хлопчатобумажные чулки в рубчик на ногах бабушки, при виде которых отчего-то очень хотелось пирожков и спать, да ещё, незnamо

отчего, – просторные беленые урны с широким горлом, больше похожие на вазоны для цветов.

Девается куда-то брезгливость, спешка и заодно перестаёшь оставлять дела «на потом». Даже на завтра.

## Нотабене

Сносливо<sup>17</sup> время, и хочешь – не хочешь, надо это как-то сносить<sup>18</sup>. Всё одно – никому не сносить головы<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> неутомимый

<sup>18</sup> выносить

<sup>19</sup> поплатиться жизнью

# Корни

«– Барин, вижу, наигрались уже... Отдайте её мне!

– Женишься – забирай!..»

– Что, прямо так и сказал?

– Прямо так! Про это дед не стал бы врать.

– Это точно, скорее бы промолчал.

– Ну, а дальше-то что?!

– Что-что... Женился прапрадед на этой красавице! Он слово своё держал, вот так она нашей прапрабабкой и стала.

...Вяхирь гулит басом, даёт знать о себе из лесной чащи, тревожит. Ровно так не позволяет позабыть об себе и прошлое, которое мы листаем с раннего детства до... до... додиз...

– Мам, а кто это там на фотокарточке?

– Не отвлекайся, сиди ровно, занимайся, тебе завтра в музыкальную школу.

– Ну, ма-ам! Я тоже хочу посмотреть!

– А руки у тебя чистые?

– Да...

– Сухие?

– Так я же играю!

– Всё равно, иди, вымой ещё раз и вытри насухо! Немедленно!

Что у неё за манера, переводить разговор на другое, когда я спрашиваю о том, что мне действительно интересно? И, покуда я вернусь из ванной, торопясь, едва не сорвав полотенце с петельки, альбом с фотографиями наверняка будет уже убран на место, подальше от моих любопытных глаз и глупых вопросов.

Полвека спустя, мать, не помня, не зная половины из того, что было на самом деле, а другую пересказывая по-своему, станет изумляться моей неосведомлённости:

– Как тебе не совестно! Надо знать свои корни!

Да кто бы спорил... Только не я.

Капель, заведённая пружиной недавнего дождя, отсчитывает мгновения. Кому рассказать хотя бы про них? Которому из поверить<sup>20</sup> минувшее? Поверить кому?

# Так не бывает

Пещера арки дома, где жила бабушка, от поребрика душевного тротуара до геометрического уютного внутреннего двора, делила дни детства надвое. Плоские и правильные, проведённые с родителями и другие, – в гостях у бабушки. Неровные, сытные куски этих дней легко умещались в красочной картонке, заляпанной акварелью и отпечатками маленьких пальцев, выпачканных непременно чем-то очень вкусным: к примеру, солёным сливочным маслом, намазанным на горбушку белой булки.

Вспоминаю бесконечные прохладные летние утра с долгими, чинными завтраками, под тихий звон серебряных приборов о фарфор...

– Мама, зачем вы поставили эти тарелки? Разобьёт ведь!

– Пускай. Это не самое страшное из бед. Ребёнок должен расти в любви и красоте, дабы было после по чему ровнять, чтобы учился не уставать радоваться. Пресыщение, моя милая, не от обилия красок, но из-за неумения понять их глубины!

И, поощряемый бабушкой, я впитывал, сравнивал, восхищался и судил, как умел.

Проходя через арку, я ни разу не смог сдержать своего восторга от её округлых форм.

– У-у-угу-у! – Кричал я с упоением.

– Не балуйся. – Раздражённо дергали меня за руку взрослые. Все, кроме бабушки, которая, улыбаясь одними уголками губ, заметно замедляла шаг, а то и вовсе останавливалась, принимаясь что-то искать в ридикюле. Впрочем, когда я, не на шутку распалившись, пугал своими воплями голубей, тогда уж хмурилась и бабушка:

– А вот так не годится. – Тихо говорила она, и пристыженный, я сам продевал свою ладошку в её руку, предлагая идти дальше.

Помню, как сейчас. В день своего рождения бабушка склонилась над нарезанным тортом:

– Тебе какой? Наверное, с розочкой? – Улыбаясь спросила она, и в ответ на умоляющие мелкие, едва заметные кивки, перенесла треугольной лопаточкой на мою тарелку кусок с самой большой белой розой.

– Мама! Вы опять его балуете!

На подобные сетования бабушка обыкновенно лишь молча поднимала правую бровь, но в тот раз возмутилась:

– Это возбраняется? Есть какой-то закон, запрещающий мне портить внука?

– С нами ты была строга... – Обиделась мать, на что бабушка со вздохом возразила:

– Вот доживёшь до моих лет... – После чего спор иссяк сам собой.

Если бабушка не вела меня в музей, а просто «подышать», то позволяла взобраться по пожарной лестнице, ведущей на крышу дома. Приподняв головой железную дверку, я пробирался мимо громоотвода и бочек с песком, поближе к перилам, где усаживался покормил с рук голубей, да погладить выпачканный побелкой лоб дворовой кошки, что с мявом, опираясь головой в стену, забиралась вслед за мной наверх. Вблизи облаков птицы и кошка мирились с обществом друг друга.

Когда я немного подрос, бабушка вручила мне пачку новых рублёвых бумажек, половину пенсии, чтобы я мог купить гитару, и именно ей я спел свою первую песню.

Мне не исполнилось четырнадцати, когда однажды утром жизнь позабыла разбудить бабушку, порешив, что справится сама, и дальше пойдёт без неё. Только вот... жизнь оказалась слишком самонадеянна, как тот малыш, что вырвался из рук, но пробежав пару шагов, упал. Плашмя... зарывшись лицом в...

Вне пригляда бабушки, всё вокруг оказалось или стало не таким, как раньше. Любая радость и красота были теперь с позолотой грусти по ней, а при виде цветка белой розы, мне всякий раз вспоминался другой, из крема, с куска торта, которым некогда щедро наделила меня бабушка.

Поезд бытия следует из пункта в пункт без остановки. Люди выходят из него на полном ходу один за другим. Его б загнать в тупик... или заставить остановиться и сдать назад, но... Так не бывает. Ни для кого. Никогда.



# Сватовство

Я наблюдал за тем, как ящерица взбиралась по комьям земли, приникала к их пылающим по причине пристального внимания солнца щекам, и перенимая их горячность, сама делалась порывистой, ловкой, даже бедовой<sup>21</sup> слегка, что не мешало ей навлечь на себя беду, – внимание ястреба, – и избежать её, в тот же час, проскользнув промеж кусков сухой почвы, как сквозь землю.

Мы сидим за столом. Нынче день, когда решится, наконец, – быть нам вместе или нет. Скрывая смущение, я принимаюсь рассматривать небо:

– Облака удерживают небо ажурными уголками, словно фотографии в альбоме.

– Было уже. – Ответствует мне она, и в её голосе слышится мне не то раздражение, не то смятение.

– Вчера? – Живо интересуюсь я, старясь разговорить её.

– Не помню. Когда-то. Какая разница. – Почти не скрывая чувств, сердится она.

– Ястреб требует дань... – Настаиваю я, но она лишь злится в ответ:

– ?!

---

<sup>21</sup> отважный

– Синью. С неба! А венки леса обрамляет высокий лоб горизонта...

– Когда вы повзрослеете? – Брезгливо сморщившись, интересуется она.

– Никогда. – Отвечаю я, и ласточка одобрительно треплет меня крылом по волосам.

Когда над столом пролетает жук, она едва не вскакивает:

– Кто это так трещит? Оно кусается?

– Нет, не бойтесь. – Успокаиваю её я. – То майский жук.

В тщетных попытках напугать, он тарыхтит на всю округу, покуда не падает без сил...

– Куда?

– Так над чем обессилеет, туда и падёт.

– И в чашку? – Изумляется она, после чего приходит мой черёд удивляться:

– С каких это пор вас интересуют жуки?

– Ни с каких. Просто, если насекомое окажется в чашке с горячим чаем, то обожжётся.

– Вам его жаль?! – Нежность и благодарность за сочувствие переполняют меня, и готовы захлестнуть, смыть с берега памяти давешнее небрежение к облакам, но увы.

– Куда после девать чашку? Придётся отдать горничной или отставить для незваных гостей? Я сама побрезгаю пить из неё после...

С нескрываемым разочарованием я посмотрел на девицу, которая, противу моих ожиданий, оказалась куда как более практической. Хорошо, хоть была честна. И... я оставил её. Рассудив, что спокойствие, благоразумие и бесчувствие совсем не одно и то же.

Спустя четверть часа, убаюканный ездой, я любовался сквозь ресницы на вечернее, нежно-голубое небо, которое плавилось над оранжевым пламенем закатного солнца, а вместе с ним таяла льдинкой и сама прореха луны...

# Конфета

Угадано, подсмотрено, подслушано, замечено...

Со стороны, у других, – и кусок слаще, и жизнь лучше. Так ведь? Да так – так, не отпирайтесь! Даже фуражка, точно, как ваша, на чужой голове, кажется, сидит крепче, и ветром-то её не сдует, и птичка, взлетая, не посадит на неё свою белую кляксу, не обелит, так сказать! А то, что на вас самих иной смотрит с завистью, – померещилось, почудилось, быть того не может, ибо вы – самый несчастный из ныне живущих, последний кусок пирожка с мясом положили в рот, губы расписной салфеткой утёрли, из чашки тонкого фарфору пенным кофеом запили, в кресле откинулись, и ну себя жалеть.

Хотя... всегда найдётся, позавидовать кому. Оно, конечно, порадоваться бы лучше, да тут уж – как кому сердце дозволит.

Помню, завидовали нам соседи... Отец был военным, а мама не работала, дабы не отнимать пайку у соседок, чьи мужья поднимались затемно в 7 утра по заводскому гудку, будильники, что имелись тогда далеко не в каждом семействе. Мы, мальчишки, набегавшись до рези в животе, даже сквозь

сон не путали зудение Загорского оптико-механического с баском скобянки, и успевали забежать в класс за несколько мгновений до «Здравствуйте, дети!» строгим голосом учителя.

Проводив нас с сестрой в школу, мама, ровно как и другие жёны папиных сослуживцев, принималась крутиться. Прокормить четверых на папино довольствие было непросто, пшёнка, самая дешёвая крупа, подавалась у нас к столу в разных видах: горячей рассыпчатой, нарезанной на ломти холодной, а то, если повезёт, и с молоком. Бывало, не на зависть соседям, а чтобы побаловать нас, мама покупала в лавке пол фунта шоколадных «Мишек», и не во всякий день за ужином мы делили одну-единственную конфету поровну, на четыре части, столовым ножом.

Некоторые жёны военных умели шить. Так, к примеру, на первом этаже в нашем подъезде жила тётя, Дина Ивановна, подпольная портниха, которая строчила на швейной машинке Зингер нужные дамскому полу лифы, и могла не экономить, как минимум, на конфетах. Прочие же жёны вели домашнее хозяйство, смотрели за детьми и добывали продукты, после чего отправлялись в библиотеку, где читали запомним всё, от Толстого ...до Толстого.

Угадано, подсмотрено, подслушано?... Испытано! На соб-

ственной, так сказать, шкуре. Впрочем, родители, надо отдать им должное, старались делать для нас всё, что могли, – любили, заботились, показывали на своём примере, что такое достоинство и честь, а также – делили с нами ту самую конфету, что казалась слаще иного пуда пряников, коих не едали мы ещё ни разу на своём веку.

# Бражник

Попеременно втягивая то живот, то щёки, по окошку ползла гусеница, долгою<sup>22</sup> с вершок. Дебелое её тело, обтянутое платьем из плотной золотой парчи с серебряными вставками от самой горловины до подола обращало на себя внимание, но сей чопорный, несколько топорный облик вызывал у окружающих опасливое почтение, что держит на расстоянии менее уверенных в себе. Ибо, не ровен час, – склонишься эдак, сдуть приставшую невзначай к платью пылинку, а получишь в ответ негодование, али колкость, либо едкое слово, будто прикосновение?! Себе дороже! Лучше обойти, не давать повода, не рекомендоваться выскочкой. Уж коли сама подзовёт, тут другое, делать нечего, – невежливо представлять, будто занят и торопишься.

Только вот молчит, не зовёт, потому знает – нет охотников знаться с нею, а если кто и обнаруживает в себе такое намерение, сдерживает его опасливостью, что трусости или благоразумию сродни, – то уж у кого на то какой расчёт.

Гусеница ползла по окошку, и душа ея при каждом движении разбрызгивалась поровну, не миновав ни единую из многих пят. Больно отзывалась в ней брезгливость, с кото-

---

<sup>22</sup> длина

рой встречали её появление. «Пусть бы не остановили... не позвали... не обратился бы кто...» – Молила она про себя кого-то незримого, но всесильного, и торопилась спрятаться, закатиться угольком в уголок, уединиться под покровом укромной, спасительной тени.

Намного позже, через пару-тройку лет, когда течение Леты снесёт пугливых с завистниками, осторожных с расчётливыми, а вместе с ними и преисполненных отвращения, бражник, – в новом облике солидной роскошной бабочки, – будет принят в обществе, и перелетая с цвета на цветок, непременно вздохнёт, сострадав недолгой памяти тех, в ком не нашёл сочувствия давней порой, когда был простой гусеницей:

– А что бы не думать обо мне плохо? Увидеть душу, а не только то, под чем скрывается она...



# Невозвратный билет

Сгибаясь под грузом воспоминаний, с лёгкой сумкой на плече я искал свой вагон. Внимательно, с серьёзным лицом изучив мой билет, прочтя сладким от мятной конфетки шёпотом цифры плацкарты, девица вздохнула с очевидным облегчением:

– Так тож не сюда вам! Дальше!

– Почему? – Удивился я. – Перед вами третий вагон, четвёртый ещё раньше, значит это мой, второй!

– Та ни! Мы нулевой! Ваш следующий!

Поддёрнув повыше ремень сумки, я вздохнул и пошёл по перрону, изучая его неровности. В сторону здания вокзала старался не смотреть, ибо и без того хорошо знал об его устройстве.

Чуть больше года прошло с тех пор, как не стало отца, а до того он всякий раз провожал меня к поезду. Чтобы побыть со мной или дабы вновь увидеть памятник из своего детства, что словно последовал за ним с берегов одной реки на берег другой<sup>23</sup>? Какая разница. Мне было приятно ненавяз-

---

<sup>23</sup> Иван Данилович Черняховский, дважды Герой Советского Союза. Самый молодой генерал армии и командующий фронтом в истории Советских Вооружённых сил. Во время сражения за Воронеж и Верхний Дон командовал 18-м

чивое присутствие отца, рассеянное молчание, готовность услужить, купив билет, и его заговорщическое «на представительство», опуская мне в карман сдачу.

Отец вызывался проводить, невзирая на мороз, слякоть или жару. Если ему нездоровилось, то и тогда, не слушая возражений, он собирался с силами, одевался потеплее, и перебирая ногами, привычно крутил земной шар чуть впереди меня, задавал шаг, не позволяя уступить ему и слегка помедлить. Удивительное дело, но в дороге отцу неизменно делалось намного лучше.

А теперь... Было больно не слышать рядом лёгкого дыхания, редкого покашливания, уверенной поступи отца, как не видеть и его самого через окно отходящего вагона.

– Простите, вам нехорошо? – Сосед по купе узнал меня, но чтобы избежать расспросов я поспешил откланяться, извинился и вышел в тамбур. Там моих слёз не было видно никому.

В тепло вагона я вернулся, лишь только когда уже выключили верхний свет. Моя полка была застелена стараниями соседа, который из деликатности сделал вид, что спит. По-

---

танковым корпусом, затем войсками 60-й армии. Погиб при освобождении Польши за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны. Похоронен в Вильнюсе, памятник из Вильнюса перевезён в Воронеж, установлен на привокзальной площади

решив, что поблагодарю его за любезность поутру, я лёг, и, противу ожидания, скоро заснул. Привидевшийся ночью силуэт отца был размыт, неясен, но узнаваем вполне. Он по обыкновению красноречиво молчал. На этот раз о том, что у всех у нас куплен невозвратный билет. Полученный задаром, он выше всякой цены, второго такого же не достать, ни за какие деньги.

# Запоздалое

Нет горше напраслины и плоше  
запоздавшего раскаяния.

Автор

Нечто монотонное, не всегда простое, но выполнимое, даёт возможность отвлечься, постоять на берегу жизни, посмотреть на неё со стороны. При этом не обязательно оставаться недвижимым, скорее – деятельным, чтобы нельзя было отыскать повод упрекнуть в неумении быть «как все», хотя как это делается, не знает никто.

И эдак-то можно чего-нибудь работать или идти – долго, издалека, туда, откуда ещё не возвернулся никто.

Итак, путник хрустел камнями дороги, словно сухим хлебом, самой твёрдой его коркой, что колет дёсны, но никак не хочет поддаваться разыгравшемуся голоду.

Накануне, спасаясь от жары, он зашёл в храм, где служили праздничный молебен к Троице, да так и простоял там до вечера. Ноги его отяжелели, будто бы приросли к мрамору пола, а душа сделалось чистой, невесомой, как бывает легка на пригляд бабочка или пушинка тополя. Теперь же он шёл, давно позабыв – куда. Не то, чтобы человек не имел дома,

он у него был, – тёплый, и, как говорили, даже уютный, да только стены теснили его со всех сторон, стесняли свободу с самой осени. Человек едва мог дожидаться весны, чтобы отправиться в любую из сторон, дабы набраться простора, надышаться им, и суметь пережить грядущую зиму, ещё одну.

Под тяжестью блестящих зелёных жуков, прямо на дороге осыпались лепестки соцветий калины. Мелкие маки гляделись веснушками с пухлых защёчных мешков пригорков, набитых муравейниками. И, сощурившись на цветы, не сразу узнав их, путник ощутил на глазах слёзы. Ему вспомнилась бабушка. Но не сквозь мелькание метели многих по хозяйству дел, а иной, в редкие свободные минуты. Во время одной из таких, прикусив нижнюю губу, она нарисовала маки, точно такие, что сажала в палисаднике школы во время войны. И пламенели эти цветы, будто знамёна, словно пионерские галстуки, – надеждой на победу, верой в неё.

Вспомнилось человеку, как однажды бабушка убрала с круглого обеденного стола всё, вплоть до скатерти, расстелила красивую ткань и нависла над нею с чёрными кованными ножницами.

– Ба, соседка приходила? – Спросил я тогда.

– Почему? – Удивилась бабушка.

– Ну, платье ж будешь кроить! Красивая тряпочка! – Одобрил я.

– Ох, какой же ты у меня догадливый! – Делая первый

надрез, улыбнулась бабушка. – Только это я себе.

– А тебе-то зачем? – Не подумав выпалил я, и бабушка уже невесело, а ожесточённо принялась рубить ткань по привидевшемуся ей лекалу, как обычно «на глазок». Сострачивая же отрезки, она давила на кованую педаль машинки так яростно, будто бежала куда. В новом платье бабушка выглядела очень нарядной, но потерянной и с м е р т е л ь н о грустной...

Вдруг оступившись на круглом камне, человек подвернул ступню. Было довольно больно, однако другая боль принудила его остановиться.

– Какой дурак... Какой дурак! Мальчишка! Как я мог!? – Удивлялся он, и не любил себя в эту минуту так, как не ненавидел ещё никого и никогда. А маки, мелкие алые цветы, льнули к его ногам, роняя слёзы лепестков, и вскоре округа показалась забрызганной кровью, – вся, куда ни глянь.

Спустя недолго, путник возвращался домой. Опустошённый, но успокоенный и чистый, как земля после сильного ливня, он понял про себя больше, чем хотел, но прошлое было прожито и неисправимо от того.

Обиженный на кого-то ветер, чистил эмаль неба, оттирая его облаком до дыр, так что вскоре обнаружилась щербина

луны, которая неумело скрывалась за отворотом дня.

У всякого – своя боль, и как не бежим мы от неё, она вскроется однажды правдой, что окажется испытанием, испытанным способом узнать – цела ли ещё совесть, жив ли ещё человек, или уже нет.

# Слон

Слоновник зоопарка полон подлинно циркового аромата смеси влажных опилок и помёта. Кто-то выбежит, брезгливо наморщив нос, а иной задержится, и отыскав взглядом на что присесть, улыбнётся слону, похожему на того, игрушечного, в обнимку с которым засыпал в детстве.

Фигурка из толстой резины стояла на выгоревшем пригорке прибитого к стене радио.

– Ба, можно?

– погоди, сперва оботру. – Соглашалась бабушка и, словно играя сама, не торопясь протирала слона чистым полотенцем, всего, с головы до хвоста, а после протягивала мне:

– Держи.

Я хватал слоника и крепко прижимал к себе, отчего тот едва слышно сипел. Ржавая давно свистулька в его левой пятке казалась простуженной, что делало игрушку слегка не такой, как другие, из-за чего её хотелось любить и жалеть больше прочих.

Помню, как разгневалась однажды мать, заметив, что я баюкаю слона и шепчу ему нечто в плоские тугие уши:



– Мама, вы опять?! А если по нему бегал таракан?

– Я протёрла. – Вздохала в ответ бабушка.

– А надо было вымыть, как следует, а ещё лучше – не давать вовсе!

– Ну, так он попросил... – Пожала плечами бабушка.

– Да мало ли что! Если луну потребует, тоже не откажете?..

Я любил бабулю, всегда заступался за неё, и по сей день чувствую тот жар на щеках, с которым заверял мать, что не пошлю бабушку за луной, даже если она очень будет мне нужна. Теперь-то я припоминаю, как они обе силились не рассмеяться, а бабушка делала строгие глаза, заставляя меня молчать.

– Пойми ты, бедовая голова, – увещевала она после, – коли женщины сцепятся языком, без ссоры не растащить. Лучше переждать, дать матери выговориться, скорее иссякнет, позабудет, чем кипела, выкипит и уйдёт. Почти все бабы таковы, не люблю их.

– Ба, ну, а ты-то сама, тоже женщина! – Отчего-то напугался я тогда.

– Есть такое дело, внучек! – Усмехнулась бабушка. – Только вот, женщина женщине рознь. Видал тот шкаф?

– У деда в спальне?

– Тот самый. Когда мы в пятьдесят четвёртом вселялись, шесть человек заносили его в комнату, а я, как полы крашу,

двигаю по комнате одна!

– Ого! – Недоверчиво восхитился я, оглядывая невысокую, полную фигуру бабушки.

– Не веришь? – Всплеснула руками она, и, сбегав в кухню за мокрой тряпкой, подозвала. – Смотри-ка, приподнимаю палкой угол шкафа, подкладываю туда тряпку, под каждую ножку, и готово!

– Чего? – Не понял я.

– Скользит шкаф по полу, вот чего!

– И можно прямо возить? Как паровозик на верёвочке?

– Почти. Ладно, пошла я к плите, а то обед скоро: и папа твой с завода забежит, и дедушка из парка вернётся...

...Я сижу на тумбе, в дальнем углу слоновника, окутанный запахом опилок, как воспоминаниями. Слон, настоящий, живой слон становится напротив меня, смотрит грустными глазами и принимается кружиться вразвалочку на одном месте, поднимая при этом левую заднюю ногу так, чтобы я разглядел на его пятке пятнышко, похожее на зажившую дырочку от ржавой свистульки, затерявшуюся где-то в измятых временем складках бытия...

– Ты куда?

– В зоопарк.

– Опять!? Зачем?!

– Там мой слон, из детства, который стоял на радиопри-

ёмнике, поджидая, когда меня приведут к бабушке, чтобы она побыла со мной, пока родители на работе.

– Тот самый?! Ну, что с тобой делать, подожди, я быстро оденусь. Пойдём, познакомишь меня... со своим слоном...

# До слёз

– Нынче у меня выходной, буду отдыхать! – Бодро заявляю я домашним, и они, поглядев недоверчиво, вопрошают, всяк на свой лад:

– От чего это ты так устал? – Интересуется тесть.

– Вернёшься поздно? – Спрашивает жена, и лишь сынишка, принимаясь скакать на одной ноге, кричит:

– Ура! Мы идём в па-айк! – Он пока ещё не научился выговаривать «ненужную» в слове букву.

– Почему ж это она ненужная, сынок? – Задаю я сыну прямой вопрос, и тот излагает давно придуманное себе оправдание, объясняя, что необходимые звуки всегда на месте, и тот, кто хочет его понять, понимает без труда:

– Дружок же подходит, когда я его зову, не делает вид, что не понимает, а в слове парк, главное – па, всё остальное неважно!

– Это ещё почему? – Удивляюсь я.

– Потому, что мы идём в парк с папой! – Смеётся сын.

В парке многолюдно. Нарядные взрослые сопровождают ребятешек. Не потому, что не позволяют им приходить сюда одним, но дабы погреться подле искренней детской радости, полюбоваться на неё. Ради чего работа, заботы, волнения? Всё ради них.

Карусели с качелями для тех, кто посмелее, для малышей – педальные, «как настоящие» машинки и эмалированные кони пегой, чалой и чубарой масти<sup>24</sup>, а для вовсе лихих и оттаянных – самокаты.

– Что выберешь? – Хитрю я, и сынишка принимается соображать, которое из развлечений нам по карману. А ведь помимо аттракционов, на дорожках парка стоит пухлая тележка с квасом, и другая – возле которой колдует тётенька в высокой белой накрахмаленной шапке, как в короне. Та тётенька управляется стеклянными фунтиками с газированной водой и сиропом, не глядя крутит липкий кран над гранёным стаканом, не отвлекаясь даже на ос, которые из почтения к королеве сиропа, не кусают её, но лишь выжидают мгновение, чтобы лизнуть чуток.

– Ну, так что? – Тороплю я сына, да тот, так и не решившись выбрать, идёт напрямик к бесплатной карусели, изрядно поношенной грузными недорослями, прогульщиками старшей школы.

– Эге-ге-гей, ребёнок, ты куда?! – Возмущённо, но весело кричу я сыну, и подхватив подмышки, поворачиваю к кассе, где покупаю билеты на всё сразу.

Спустя несколько часов, ошалевшие от кружений и раскачиваний качели «ещё выше, до самой луны!», пахнувшие си-

---

<sup>24</sup> перечислены масти лошадей, имеющих пятна

ропом, мы возвращаемся домой мимо фонарей, вокруг которых комары, бабочки и мошки уже устроили свою карусель. А у входа в парк, где мороженщица перекладывала сладкие брикеты сухим льдом, сын впервые в жизни осмелился попросить:

– Пап... если у тебя есть ещё деньги, можно и мороженого?

– Можно, сынок! – Со счастливой улыбкой отвечаю ему я.

И... Как приятно быть добрым. До слёз.

# Змея подколодная

Змея подколодная – скрытая опасность, скрытый враг

Ласточки вели себя необычно тихо. Каким-то непостижимым образом им удалось внушить первенцу, что молчание – порука его благополучия. Половинка скорлупки, что лежала посреди тропинки на самом виду, единственное подтверждение существования новорождённого, оказалась раздавлена в пыль проходящими мимо, и оттого-то ласточка была почти покойна.

Супруга водяного ужа подёргивала во сне широкими почти треугольными скулами в полтора саженьях от гнезда. Она не караулила его обитателей, скорее оберегала, ибо знала сама, что такое потерять дитя. А посему, помогала соседке, чем могла.

Ужа и птица были знакомы не первый год, змея утешала птицу, когда коту удалось добраться до первого выводка ласточки. Поздно подоспевшая ужиха гнала обезумевшего от ужаса кота подальше, а спустя время ласточка, в свой черёд, рыдала искренне и безутешно над окоченевшими змейками, которых настигли внезапные ранние заморозки.

Скажете, не бывает так? Ну ведь, коли проспять до обеда,

да не увидеть в окошко, как восходит солнце, то можно и поспорить, – а не нарисовано ли кем светило яркой краской посреди небосвода.

Тесно обняв друг друга, дремали в лукошке гнезда ласточки. Ужиха притворно томилась на медленных лучах утреннего солнца. В самом деле она была довольна. Жизнь, что зародилась в ней, вскоре должна была сделаться очевидной. И это было прекрасно, как всё вокруг.



# Мазанные одной миррой...

«Полюбите обидчика и врага»

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Дозреть, дорасти до любви своих врагов – то не для всякого, да и каждой ли жизни хватит. Столь раз пожалеешь себя, прежде, чем оглянешься, согласишься сперва на ближнего, после его глазами окрест, да как почувешь вдруг запах сторонних страхов, да кинешься в омут чужой боли с головой. А там – всё тоже, о том же, как своё. Так и постигнешь общность мирскую.

Банальный людской муравейник в здании вокзала. Скульптуры с крыши, преисполненные мудрой отстранённости, взирают на суету прибывающих и на наигранное равнодушие отъезжающих. Туристы с весёлыми лицами бесцельно выискивают в толпе знакомых, достают попить, делятся друг другом, теперь не жалко, ибо скоро по домам, а кого-то посылают за эскимо «на всех», «на дорожку», в складчину.

Самопровозглашённый ментор стоит чуть в стороне, окидывая пространство подле невидящим взором, ненадолго довольный не только тем, что удалось занять ребят делом, но привезти их всех в целостности и сохранности. На его веку уже

двое, которых «откачал» собственноручно после утопления, третьего не надо, непросто это, – думается ему, и тут же, «не отходя от кассы», в голове возникают новые идеи, планы будущих поездок. Лучше бы, конечно, не с одной ночёвкой, но отъехать как можно дальше, да сплавится по течению реки до самого города. Без того жизнь не жизнь, а существование, прозябание даже.

Может, для кого-то счастье сидеть за обеденным столом или, поджав ноги, на диване, у него всё не так. Только путешествия, экспедиции, с ведомой ему одному целью, да долгие приготовления к ним, могут быть сочтены и добавлены в список событий полноценной, настоящей жизни.

Всё ещё не решаясь разъехаться, расстаться и вот так, сразу, разрушить едва образовавшееся единство, ребята вспоминают взхлёб милые пустяки, недобрым словом немилых комаров и о камнях в рюкзаке, ради смеха втихаря подложенных в чей-то рюкзак. А наставник следил за неумолимо, у него на глазах распадающейся группой, и вспоминал, как в одной из экспедиций проснулся от пристального взгляда змеи.

– Тебе чего? – Спросил он её, несколько не испугавшись спросонья.

– Да... так. Сегодня будет жарко. Поднимайся, нечего ва-

ляться, пойдём со мной, я тебе покажу кое-что.

Со скалы, на которой расположился лагерь, был виден полумесяц бухты с острыми скулами выступающих из воды камней, обросших водорослями, как щетиной. Прозрачное до дна море не мешало рассмотреть пасущихся среди водорослей рыб и их равнодушные взгляды из-под воды.

– Вы, люди, иногда не видите дальше своего носа. – Вздохнула змея. – Смотри чуть выше, туда, где небо с морем слились воедино.

И он прилежно сощурился в сторону горизонта, сквозь который, натягивая светлую, гладкую, нежную кожу морской воды, силилось пробиться солнце.

– Это похоже на бутон цветка вишни, что откроется вот-вот! – Восхитился он.

– Да ты поэт, не иначе. То утренняя заря, пробуждение всего и вся, и случается она каждым утром, думаешь ты про это, ведаешь или нет...

Он собирался что-то ответить змее, быть может, даже возразить, но звонкие голоса ребят вернули его в сегодняшний день:

– Спасибо! Ну, мы пойдём!

– За вами приехали?

– Да, вон, машина. Вас подвезти?

– Нет, спасибо, я на трамвае...

Дозреть, дорасти до любви своих врагов? Поспеть бы когда полюбить и себя самого, как часть того прекрасного, что есть вокруг...

# Воля к добру

– Ты отойдёшь?

Она улыбнулась и покачала головой:

– Неа!

– Ну, дай, мы пройдем! Пожалуйста!

– А разве я вам мешаю?! – Лукаво поинтересовалась она.

– Так ты же лежишь прямо поперёк порога!

– И не переступить?! – Иронично засомневалась она.

– Да как-то оно невежливо...

– Ага, невежливо! – Догадливо рассмеялась она. – Ты просто боишься!

– Есть немного... – Признался я.

– Глупо. – Расстроилась она. – Ежели когда делил с кем-то кров, да ещё и не один день, мне думается, можно рассчитывать на доверие.

– Рассчитывать-то можно... – Замялся я. – И ты тоже можешь располагать мной в следующий раз, если понадобится.

– Так в чём смысл твоих опасений тогда?

– Не знаю. Это безотчётно, независимо от моей воли?

– О... милый! Если так, то нету у тебя той воли!

– Может и нет.

– Слушай-ка, что я скажу. Четыре зимы тому назад никто не принуждал тебя брать умирающую змею в дом. А ты не

прошёл мимо, пересилил свой страх. Я, хотя была ещё ребёнком, сразу почувствовала, что ты за человек, и пусть побавалась слегка твоих домочадцев, но была убеждена в том, что мне не причинят зла. И твои опасения теперь кажутся мне обидными.

– Ты, конечно, права, но мало ли что могло измениться, за эти-то годы.

– Лично у меня – нет. Даже если что и поменялось, но добро мы помним. Может, когда и случается по иному, да то только у вас, у людей. Шагайте смело.

– Говоришь, помните добро... Даже если это может стоить жизни?

– Даже тогда...

Густой дух нагретой хвои, кусочки гранита с запахом тёплой пыли, замершие волны взбитого ливнем песка, что остановлены горячей ладонью солнца и надо всем этим – ястреб. Раскрывая земле объятия, кидается он ей на грудь, а та сдерживает его порыв, но не отталкивает так, чтобы уж вовсе... Смущается, словно.

Воля ко злу или добру проявляется у всех неодинаково, только вот сердце щемит... так сладко, когда помнится одно лишь добро.

## В ЭТОТ САМЫЙ МИНТ...

Нечеловек ли, человек, -  
всяк имеет ценность в этом мире.  
Рассуждай я эдак-то сызмальства,  
многих бы не обидел, да и себя б сберёг.  
Автор

Знавал я одну собаку, силе духа которой могли бы позавидовать многие. Бывало, она неторопливо прогуливалась промежду кабанями, что пестовали на поляне своих малышей в пижамках, также независимо шагала она и в виду волчьей стаи. Подле неё было спокойно всегда и везде. Глядя окружающим в глаза, собака как бы говорила: "Он со мной...", и гордилась своею миссией. Служение воспринимала с достоинством. Слабость извиняла, подлость, как водится среди благородных, – презирала, но с улыбкой на устах, открыто заявляя о том, что разгаданы недобрые намерения. Так уж повелось, что и среди волков не все витязи, и среди людей.

Кичилась ли собака своими умениями? Нет, и не из опасений сделаться каботинкой, а потому, как часто к безмерно храброй силе льнёт столь же бескрайняя доброжелательность, участие к окружающим. Единственно, сама роль – быть собой очевидно тяготила собаку. Имея больше отпу-

ценного иным понимания, ей не требовалось даже взгляда, дабы разгадать – кто каков перед нею. И столь неистовства обнаруживалось в ней тогда! Безудержно приветствовала она очередное хорошее, а дурное стремилась если не истребить, то обозначить, дабы не было сомнений в его принадлежности ни у кого.

...Обмазанная тонким бережливым слоем сметаны облака сухая корка горизонта казалась хрупкой, а сам пейзаж – ветреным из-за случайной непогоды, капризным, как себя-любивая женщина.

Ветряк<sup>25</sup> сквозняка, воздушный его винт, отдуваясь нечасто, набирал обороты. Он стремился оторвать округу от земли, дабы показать ей, как красива она, с высоты полёта птицы. Но ведь ничто не мешает нам, не прибегая к подобным уловкам, рассматривать всё подле себя подробно, с мелочами и околичностями именно там, где мы теперь, сейчас, в этот самый миг<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> пропеллер, воздушный винт

<sup>26</sup> момент



# Ранний звонок

Ранний звонок обычно несёт в себе некую дурную весть, одну из тех, что подразумевается течением самой жизни, но на этот раз обошлось:

– Что вы думаете об уехавших?

– Я?!

– Ну, да...!

Смотрю на лес и небо над ним в белых оборках облаков, слушаю треск ломающихся сосен, а вспоминаю Москву, которую невозможно не любить. И не потому, что это главный город Родины... А, может, именно поэтому.

Говорят, что в Москве невозможно ощутить одиночество. Однозначно – лукавят. Толпы проходящих мимо... Мимо тебя, твоей грусти, неопределённости, растерянности, что вынуждает надевать маску высокомерия, отстранённости, и тоже начать делать вид, да торопиться неведомо куда. Под обаянием самообмана и самому начинает казаться, что в самом деле куда-то спешить. Хотя, если по чести, хочется остановить первого встречного с приятным, располагающим к себе лицом, усадить на жесткую скамью Александровского сада, взять за руку, и глядя на прошлое сквозь золотистую вуаль Вечного огня, поведать без поспешности о жизни, по-

жаловаться на суету вокруг, вспомнить то, что невозможно позабыть.

Среди прочего – про указку света на полу, зажатую между дверным проёмом и самой дверью, нарочно прикрытой неплотно.

– Совсем не закрывай, – бывало, просишь отца после того, как дочитает он, вместо сказки на ночь, очередную «чаптер» о Томе Кенти со двора отбросов. Его межзубный «the» и раздражал, и баюкал, в тот же час.

Вспоминается пустое место на полу в кухне. Латка из свежеструганных, некрашенных ещё половиц пугает слегка, ступить на то место, где раньше была печь, кажется кощунством. Совсем маленьким подолгу стоял замороженно подле раскалённой дверцы, а печка, несмотря на то, что она<sup>27</sup>, шептала нечто невнятное приятным мужским баритоном. Даже расплавленная почти, её дверца держалась в рамках дозволенного, и только дотронуться до неё было никак нельзя, а любоваться – сколько угодно.

Помнится, когда на месте сараев с курочками был вырыт котлован под новую, страшно сказать, пятиэтажку, а туалеты были уже в домах, многие по привычке продолжали говорить детям перед сном: "Сходи-ка во двор" или "В уборную", но

---

<sup>27</sup> женский род!

стыдливо напоминали при этом про эмалированный горшок под кроватью «На всякий случай».

Причём здесь Москва? Так она не только там, где камни мостовой Красной площади подставляют покатые плечи шагам многих. Она – везде, где живут люди, которые хранят главный город страны в своём сердце, как то, что дорого душе, а не по деньгам...

– А про уехавших?..

– Так то мусор! Сито времени оставит в стране золотой песок настоящих людей, тех, что любят и свою Родину, и себя в единении с ней.

# Ждём...

Ласточки подшивали просторный подол небес стежками долгими, шелками тонкими, крепкими, да прозрачными. Волочился тот подол у самой земли. Привыкшие к опрятности небеса хмурились, куksились, всерьёз готовились расплакаться, а птицы утешали их, уговаривая не рыдать:

– Не грусти, всё успеется, всё наладится...

Хорошо, славно, коли есть кому принять в тебе участие, а ежели нет? Тут ты и одинок, и несчастлив, и... в окружении столь же неудачливых, как рыба в воде. Жалея себя, влачишь дни с маской скорби на лице, коей, увы, не избежишь, но торопить-то её к чему?!

Не дождавшись даже плодов, вишня позолотила листву и с царственным величием принялась сыпать ею подле себя. А чего б ей было и не обождать? Едва Исакий<sup>28</sup> генералом на змеиных свадьбах побыл, да Еремей<sup>29</sup> пролетье проводил. Чего ж ей неймётся – не терпится? Да только зябко вишне об эту пору, будто Артамон<sup>30</sup> тех змей по норам уже погнал. Ну, так они и теперь носа не кажут, солнышка ждут.

---

<sup>28</sup> 30 мая, змеиные свадьбы, Исакий

<sup>29</sup> 31 мая, Еремей, конец пролетья

<sup>30</sup> 12 сентября, Артамон, змеи прячутся на зимовку

Одному ветру, что лето, что осень, – повсегда хорошо. Пропитанный розовым маслом, выскользнул он из кустов шиповника, облизывая губы. Нашалил ветер чего-то там, невзирая на нешуточный отпор и колючесть характера розы. Даром, что ли, дикая она?!

Уговорили-таки ласточки небо не плакать. Обойдётся как-нибудь ныне без дождя. Будет его! Лета, лета ждём, его одного...

## Сколь ни было б лет...

Посреди двора, с сердитым видом сидел птенец зарянки. Поперёк себя шире, он прятал подбородок в пуховый воротник и исподлобья, на всякий случай даже несколько сурово, оглядывал местность, на которую взирал снизу вверх впервые в жизни, ибо сил хватило пока только на то, чтобы спланировать из гнезда на землю.

Посидев минут с пяток, птенец почесал пятку о камешек, прочистил горло писком и неумелым, срывающимся баском поинтересовался:

– Ну-с. и долго я ещё буду ждать?

– Чего, милый, чего?! – Не медля ответствовала мать с нижней ветки вишни, она с детства побаивалась высоты, и предпочитала именно их.

– Да как же это?! – Возмутился птенец. – Ку-у-ушать!

– Так ты поднимайся сюда, всё уже готово, только клювик помыть...

– Хочу ту-у-ут! – Заупрямился младенец.

– Да как же это?! – Запричитала мама зарянка. – Отец! Оте-ец!

Папа птенца, обыкновенно занятый лишь собой, отвлёкся от самолюбования и, подхватив на лету небольшого жука,

направился к ребёнку.

– Нет-нет! Не туда, неси жука сюда, иначе он ни за что не научится летать! – Запротестовала зарянка, и её супруг, убеждённый в исключительности своей личности, со словами:

– Я умываю руки, на тебя не угодишь. – Проглотил жука сам.

Поправляя шмеля, как заколку с волосах, сине-фиолетовый чертополох, что присутствовал при сём, не сдержался и почал было поучать мальчика:

– Вот мы в твои годы...

Зарянка не дала своё дитя в обиду даже цветку, и пресекла укоризну на корню, хотя и деликатно, но категорично:

– Так-то он хороший мальчик, и чистоплотный, и не приверада. Мал ещё, первый раз ступил за порог гнезда...

– Ну, коли уж так, назад дороги нет, пусть обустривается. – Предложил сговорчивый чертополох. – Тут трава высокая, нехожена-нечёсана, пусть его, не обидим.

– Правда?! – Обрадовалась зарянка. – Присмотрите?!

– А как же! Присмотрим! – Подтвердил цветок.

Невзирая на то, что зарядке приходилось хлопотать и об своих остальных детях, о тех, которые не решились ещё выйти из-под родительского попечения, да к тому ж строилось её

радением второе гнёздышко для будущих ребятишек, птица помнила про первенца. Она находила время, дабы навестить его, принести гостинец, пригладить непослушный завиток на затылке. Потому, как дети... они для всех – дети. Будь ты хотя крокодил, или другая какая тля, покуда есть, кому прикоснуться губами ко лбу, проверить, нет ли у тебя температуры, ты малыш, сколь ни было бы тебе лет.



# Голуби

– Скажите, любезный, не водили ли вы когда голубей?

– Представьте, и в детстве водил, и теперь! У нас небольшая уютная голубятня на крыше сарая. Это такое счастье, глядеть сквозь просвет голубиных крыл на голубое небо, а после стоять покорно, ожидая, покуда, перемешав чашу небес, не утомятся они и не хлынут водопадом, да примутся гладить по плечам, щекам, волосам, будто успокаивая: «Мы тут, все тут, мы не покинем тебя, не улетим в никуда и никогда...»

– Ну, а коли случится что с вами, куда их девать тогда?

– Не знаю. Не думал.

– А зря...

Вяхирь, дикий лесной голубь цвета грозовой тучи, был недоволен: и округой, и сумраком дня, и самим собой. Он охал на все лады рваным, плохо поставленным баском. Несведущему могло показаться, что где-то в глубине леса сидит баба на обитом бархатом мха пне, и хлопая себя по рыхлым, тучным бокам, воздыхает, стонет, стенает, да клянёт без стыда: тяжёлую свою судьбу, нелёгкую – прочих, покинувших и её, и этот свет не по своей воле.

Отчего эта баба не на хозяйстве об эту пору, светлым, не

праздничным днём, то на ум не приходило, уж больно над-  
рывно и откровенно звучал тот плач, то рыдание.

Вовлечённая однажды в течение жизни, баба, впрочем, почти как и всякий, не имела ни мочи, ни ума, ни воли свернуть или пойти ему супротив. А вяхирь, ибо ворчал-таки в лесной чаще именно он, было довольно доволен своим бытием, и волею своей, которую не усматривал, не выискивал, а дышал которою с проклюва и до старости, в паре со своею единственной, любимой голубкой...

И ведь никто не спросит у голубей, есть ли у них свой человек...

## Не зря ж оно так?..

«Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме...» Наверняка это было не так, но из игр с матерью я помню только эту, да и то – единственный раз и совсем недолго...

Дачная пора хороша лёгкостью нравов, обедом не вовремя и чаем, когда вздумается. Гостей можно звать и выпроваживать без церемоний, сославшись на один только комариный писк в комнатах. Однако теперешний наш визитёр пересидел всех прочих. После того, как я в очередной раз, почти не скрывая зевоты, посетовала на поздний час, он хлопнул себя по коленям, и пообещал без промедления откланяться...

– ...только скажите сперва, какие цветы вы любите!

– Люблю?! А не слишком ли, для цветов-то? Есть те, которые мне нравятся больше других, а так... Всяк цветок по-своему хорош.

– Ну, так, всё же! Поведайте мне свою тайну!

– Да нет никакой тайны. Я простые люблю.

– Ромашки?!

– Вот вы какой, заладили, как иные. Что ж никакого воображения у людей. Если простой цветок, то непременно ромашка. и что вы все в них нашли?

– Я от вас не отстану, покуда не скажете.

– Скажу, отчего ж, потому – спать давно хочу. Только уж и упрежу – не вздумайте мне дарить неживых цветов. Не приемлю. Пообещайте, что исполните.

– Вы меня ставите в неловкое положение, но делать нечего. Обещаю. Так скажете теперь?

– Цикорий мне по нраву, маки и чертополох. Теперь же, когда я удовлетворила ваше любопытство, позвольте мне, наконец, идти спать, да и вам пора.

Гость откланялся, а удаляясь нёс на лице выражение, кой позабавило бы любой из тех цветов, что нравятся мне, но менять собственную приязнь, в угоду всеобщим любимцам, мне в голову не приходило никогда.

...Прислушиваясь к поспешным шагам последнего в этот день визитёра, я стояла у окна. Стараясь не оцарапать, сосна, что росла у дома, тянула ко мне свою мохнатую лапу, на которой старого золота паук обнимал изумрудную сосновую шишку. Чудилось, оберегал он её молодую, незрелую, годовалую, да не от Соловья-разбойника, но от собирателей, что тшятся продлить свою молодость за жизни чужой счёт.

Сколь отпущено той сосне? До пятисот годков. А человеку? Вот, то-то и оно. Не зря же так? Ох, не зря...

# Так нельзя!

Отец семейства, с заметной уже плешью на затылке и сединой в висках, тяжело дышал. Открытым ртом он хватал скоро согревающийся воздух утра.

– Ну, и сколько ты ещё будешь прохлаждаться? – Возмутилась супруга, напугав мужа. Тот от неожиданности захлопнул рот, едва не проглотив заодно пролетавшего мимо жука:

– Несу-несу! – Обрадованный удачей, взвился воронок<sup>31</sup>, оттолкнув провод, на котором сидел, из-за чего в доме возмущённо загудел трансформатор.

Сама же ласточка принялась наскоро ощупывать землю, измеряла её для чего-то в полёте, по паре косых сажений<sup>32</sup> за раз.

Трепещет на ветру шелк позабытого пауком в траве платка.

Сосновые иглы, как новые палочки для еды южных соседей, называющих себя хань.

Младенец утра срыгнул молочной пенкой облака.

---

<sup>31</sup> ласточка

<sup>32</sup> 1 сажень – 248 см

Зелёный жук норовит сесть на скользкий от слёз нос малыша, что ревёт спросонок из-за щекотки солнечного луча.

Сосна стонет далёким паровозным гудком через дупло и скрипит калиткой лета непрерывно.

Пара мотыльков целуется в кудрях винограда. Капустница нежится на влажной отмели лужи, тянет через соломинку тёплый сок дождя.

Лесной колокольчик, сбитый с панталыку напором жука, потерял дар речи, а с ним и всякую способность к звону.

Недавний внезапный холод, распорядившись округой по своему усмотрению, побыл недолго и был таков, но воцарившееся после него тепло оказалось не в состоянии выправить того, что натворил зяба<sup>33</sup>: все де единого цветы и завязи горстями ржавых булавок лежат на земле. Вишен не будет, совсем.

Из более страшных бед – родившая неделю назад кошка с мутным от тоски, не понимающим ничего взглядом, стоит у сарая и зовёт надрывно погубленных хозяйкой котят...

А, в тот же час, на залитом водой левом берегу Днепра тысячи людей утонули в подвалах, где прятались от обстрелов

---

<sup>33</sup> мороз

соплеменников. Захлебнулись во сне или в момент пробуждения. С ужасом в сердце. За детей, за стариков, в последний черёд – за себя самих...

Много лет тому назад я учился справляться с болью, и когда получилось однажды, отец спросил: «Как? Что сделал? Подумал о чём?» И я ответил, хотя и охотно, но немного свысока: про то, как представил себя сидящим в лодке, а боль – женщиной, цепляющейся за борт из последних сил.

– Ну.. и? – Торопил отец.

– ... а я её – веслом по рукам...

Помню непонимание, негодование, разочарование в глазах отца. Обычно мягкий, уступчивый, отыскивающий мне оправдание, он покачал головой:

– Нет. Так нельзя. Никогда. Это страшно.

И нынче я говорю про тоже самое:

– Это страшно. Так нельзя. Никогда.

## Чего ж вам...

Чего ж вам, люди, не сидится на одном месте? Куда ж вас тянет? Гонит кто с родных мест?

Коли войны, бескормица, да болезни, – это всё бывает, у всех, да после как успокоится, стараются поскорее возвратиться домой, восполнить утраченное, восстановить былые очертания, без которых себя уж и не помнят, и не мнят. Впрочем, не со всяким эдак-то. Иной глядит на знакомое с детства, и муторно, тоскливо ему из-за того, что известно почти любое и любой. Кто что скажет или сделает, да который из-за чего промолчит. И до такого тошно делается ему, что край. Потому однажды положит он в котомку хлеба, ножик, да чистую рубаху на смену, и бежать, не куда глаза глядят, но куда сердце просит. А попросит оно увидеть родину предков, которые покинули однажды свой край, по воле или безволию назначив таковым чужой, – невиданный и неведанный.

– К примеру, бабка моя, та, что норманн, с берегов Селижаровки, по всю долгую жизнь тосковала об песчаных отмелях и тихом течении реки, по отцу и младшему брату Васеньке, погибшем в Финскую, ну заодно и по пирогам с вязигой, кои пекла с малолетства, точно как маменька научила.

А прабабка? Усмирили её дерзкий нрав многие заботы, стать былую от трудов стало не угадать, невзгоды иссушили



все её рыдания до последней слезинки... Строгая, не заплачет, не улыбнётся, кажется, ни до кого дела нет, но вот как ни просил сосед отдать ему собаку, направляла прабабка просителя к самому анчибилу<sup>34</sup>. К слову, то было единое, но самое страшное ругательство прабабки. Верно, других-то она и не ведала, да только по нему одному, спустя годы я и прознал истину о родных местах моей, крепкой умом и телом, прабабки. Донское то словечко, исконное.

– Ну, а почто ж она, прабабка твоя, столь скряжлива<sup>35</sup> была?

– Вовсе нет!

– А собаку пожалела...

– Так ел их сосед, от того и не дала. И упредила ещё, что, коли с псиной приключится чего плохого, всем даст знать, кто тому виной.

– Сильно боялись её в станице?

– Уважали очень!

... Что ж вам, люди, не сидится-то на месте? По крупицам собираешь свою подноготную, дабы знать, – кто ты, отсель, чья кровь течёт в твоих жилах, да чего ждать от себя в иной, неведомый никому час.

---

<sup>34</sup> чёрт, диавол (донской говор)

<sup>35</sup> скупой

## За накрытым столом...

Бронзовки совершенно обленились от жары, и вместо того, чтобы обогнуть дом, дабы добраться от одного куста калины до другого, предпочитали пролететь по комнатам, и, присев на обеденный стол, прямо у чайного прибора, покорно ожидали, покуда их подберут и выкинут за окошко. При этом жуки не засахаривались испугом, нервно прижав к груди лапки, не пытались убежать, но щекотно переступая по пальцу, взбирались ближе к пясти, и расположившись поудобнее, расставив широко ноги, словно капитан на мостике, шурились навстречу сквозняку из окошка и наполненным парусам занавесок.

Хозяевам дома ничего не оставалось, как вздохнуть с притворной досадой, и скрывая улыбку, проводить незваного, но милого гостя, украдкой погладив его пальцем по спине.

– И вы его не боитесь?

– А зачем? Он весьма мил, к тому же, он наш старый знакомый. Даже кошки и собака не обижают этих жуков, только дают знать, если один из них оказывается в неудобном месте, где на него можно будет случайно наступить.

– Надо же... Вы так трепетны к букашкам!

– Знаете, эти, как вы неосторожно выразились, букашки, сопровождают меня на прогулках.

– Я поверю в это только из уважения к вам, моя дорогая...

– Напрасно. – Прервала визави девушка. – Коли я задумаюсь и отхожу от дома дальше обыкновенного, один из жуков предостерегает меня, пролетая близко-близко к лицу. Будто проводит невидимую черту, дальше которой не стоит заходить.

– Выдумщица вы... Но зато и нравитесь мне...

Прислушиваясь к беседе молодых людей, бронзовик ухмылялся, нынче он может быть отчасти покоен, девушка в надёжных руках, а он сам, со сладким гудением осенней мухи, кинется в объятия калинова куста, предвкушая грядущее пиршество сотоварищами за накрытыми столами с расставленными промежду сосудов нектара белоснежных ваз, полных вкусной цветочной пыльцы.

# Мы из СССР

Поезд, с красной звездой на месте носа, промелькнул мимо в пространстве, как само государство, что погрязло в болоте исторической неправды, но не перестало быть нашей Родиной, и именно потому, по сию пору, даёт основание и право держать спину ровно, а голову гордо.

Мощь, накопленная в годы существования СССР, существования с ним и в нём, помогла пережить последующие десятилетия растерянности, голода, разрухи, не дала потерять себя, поддерживала, как могла, силой воспоминаний о хороших временах и благодарности к тому, что было когда-то обыденным: предсказуемости судьбы, надёжности, стабильности. Чувство собственного достоинства, что держалось на этих трёх китах, довольно трудно изжить, из-за инерции прилипчивой и въедливой привычки к хорошему, ибо предшествующее понуждение сделать всех людей счастливыми оказалось, спустя годы, действительно безмерным и искренним.

Не справляются с ним, ни сквозняки многих разоблачений, ни потоки сомнительного «как это было на самом деле», словно ушат холодной воды на голову...

Человечеству, которому «мало надо», нужно всё больше и большего. Но к чему, если оно не успевает оценить то, что

имеет: синее небо над головой, белые облака и пикирующих с неба ласточек. Не хищных железных рукотворных птиц, а живых и лёгких, весёлых, с сияющим в солнечных лучах оперением.

Поезд, с красной звездой на месте носа. Ты заставил улыбаться тебе вослед. Ты заставил плакать по себе. Горько и безутешно.

# Придёт и ваш черёд

22 июня 19.. года. Казалось, ничего не предвещало... Лето, каникулы, чтение в кровати до полудня, крепкий, холодный, сладкий чай с кусочком заветрившегося, взопревшего от собственной лени сыра. Тем расслабленным бесконечным днём хотелось покоя, умиротворения, передышки, что нужна после нескольких месяцев беготни по школам и внеклассным занятиям, которые с трудом удавалось уместить в неверные себе и мятущиеся, как и всё живое, земные сутки.

Накануне мы с друзьями договорились ехать на речку. Не с утра, разумеется, но ближе к вечеру, едва солнце сменит жар своего гнева на милость приятной истомы, нагретый за день песок станет просто тёплым, а вода в реке – уютной, как сшитое бабушкой одеяло на ватине.

К тому времени, когда приятели постучали в дверь, я был уже умыт и готов к походу. Обёрнутая вафельным полотенцем маска, дыхательная трубка и плавки лежали в рюкзаке. Горбушка ворочалась и вздыхала на дне бокового кармана, роняя от нетерпения кристаллы крупной сероватой соли, в ожидании, когда я, нанырвавшись до синих губ, проголодаюсь «зверски». Щёку второго кармашка раздуло от трёх картофелин, – то был мой вклад в грядущее пиршество на бере-

гу у костра с острыми язычками пламени, трепетными, как уголки пионерского галстука.

В ту пору мы любили разводить костры, хвастали друг перед другом умением делать это быстро, «с одной спички», «на ветру». А когда луна принималась рассматривать себя в причудливом зеркале реки, восхищаясь своею неотразимостью, всякий раз хотелось ответить и разжечь огонь у воды, тем самым давая знать, что тоже любишься ею.

Добравшись до места, мы сбросили рюкзаки и, срывая на ходу рубахи, кинулись в воду остывать, где долго прыгали и гонялись друг за дружкой. Когда же наш запал основательно размок, мы вышли из реки совершенно без сил и развалились обсохнуть на песке.

– Небо-то, не сильно летнее. – Заметил Серёга. – Похоже на Левитана<sup>36</sup>. Помните, сочинение писали по картине<sup>37</sup>? Так там такого же цвета, но то март был нарисован, снег ещё не сошёл.

– Ну, теперь скоро вечер, от того и небо неярко, а в полдень оно такое синее, что глазам больно! – Ответил товарищу я, и тут...

---

<sup>36</sup> Исаак Ильич Левитан, русский художник

<sup>37</sup> «Март» И.И. Левитан, 1895

– От Советского Информбюро<sup>38</sup>, работают все радиостанции... – Из репродуктора на столбе у пристани, чеканя слова, как шаг, раздался голос Левитана<sup>39</sup>. Подготовленное долгим предвкушением, опасение воспользовалось минутой неизбежного замешательства, и из поведённой на сторону рамы сосняка выпало небо другого Левитана, расколовшись о землю вдребезги с хрустальным, пронзительным звоном, от которого заложило уши.

Душа мгновенно наполнилась ужасом, а тело как-то незаметно истратилось на страх из-за того, что, – вот оно, всё, началось...

Мы разом вскочили на ноги и лихорадочно принялись натягивать штаны, мокрые ещё ноги никак не хотели пролезать через брючины... Но старичок, что рыбачил неподалёку, окликнул нас:

– Не пужайтесь, ребятки! То нынче для памяти. С шестьдесят пятого было в День победы, а теперича ещё и в день начала Великой Отечественной. Отдыхайте... покудова... Придёт и ваш черёд.

22 июня 19.. года. Казалось, ничего не предвещало... бе-

---

<sup>38</sup> Советское Информбюро было сформировано 24 июня 1941 года

<sup>39</sup> В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) Юдка Беркович Левитан – читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина



ДЫ...

# Такое счастье...

Я шёл вдоль леса, погода была прекрасной, только вот оводы и слепни мешали наслаждаться и ею, и укромным чудом цветения лесных колокольчиков. Неподалёку от дороги ворочался во сне кабан, чуть подальше дремали после завтрака косули, уж ленился напоказ, свесившись с выкрашенного солнцем оранжевого пня.

Казалось, никому нет до меня никакого дела. Впрочем, после того, как я в очередной раз едва увернулся от наточенного резака слепня, серо-белая птичка с длинным чёрным хвостом вылетела из чащи и села передо мной на тропинке. Поклонившись в ответ на мой привет, птица чуть ускорила и побежала вперёд.

Сперва показалось, что она уводит меня от гнезда, как это делают многие радетельные её сородичи, однако я ошибался. Трясогузка, а это была именно она, принялась перехватывать оводов и слепней, что направлялись в мою сторону. Иногда она останавливалась, дабы подождать меня, и всякий раз вежливо кланялась. Я был весьма благодарен трясогузке, так как смог, наконец, свободно вздохнуть, чтобы оглядеться, без спешки и досады на насекомых.

Хмель под руку с диким виноградом сгладили острые углы немногих домов, беседок и нравы горожан, сделавшихся на недолгое долгожданное лето дачниками.

Листья ландыша заячьими ушами торчали из за пригорка, будто спрятался там косою, пережидая, куда пройду мимо.

Паук оплел одуванчик, дабы не разлетелась его пышная причёска. И это было так к месту, что я едва смог вспомнить, как называется та сетка для волос!

Повстречал я и пару ласточек. Он был заметно сутул, долговяз, побитый временем его фрак, которому «сносу нет» местами потрёпан. Она невысока, субтильна, но не измождена, а казалась будто обрызгана лаком, так вся сияла и светилась.

Казалось бы – суетится по хозяйству с рассвета, бесконечная череда приземляющих душу забот должны бы оставить след на её облике, поправить как-то на свой лад. Ан, нет! – внимание, да забота супруга, что льстит и греет на протяжении всей их совместной жизни, не даёт потускнеть.

Вот как теперь – прервали своё мельтешение в поисках «чего покушать» и сидят рядышком. Она ему рассказывает чего-то, а он молчит и любит её, промелькнёт только иногда у него во взгляде: «Ну, и зачем я тебе такой...» А она посмотрит строго и тронув нежно крылышком, прильнёт, да шепчет: «Не говори ерунды. Для меня нет никого лучше, чем ты!»

– Надо же, какие мы чувствительные! – Хохотнул завистливо дрозд и удалился. Была б дверь, хлопнул бы ею, но за неимением оной, удалился, пренебрежительно шаркал крыльями, как смятыми задниками домашних туфель.

Ну, что ж, не все мы ласточки, не каждому такое счастье. А кому за что и когда, – того нам ни за что не угадать.

# Сам не знаю, зачем...

Скалистые горы американского Колорадо подарили миру не только Дина Рида. За сто с небольшим лет до его появления на свет, в 1824-м, именно там отец американской энтомологии Томас Сэй впервые разглядел насекомое, которое вполне можно обвинить в намерении если и не захватить весь свет вообще, то как можно большую часть его сельскохозяйственных угодий.

С восточными ли попутными ветрами в конце сороковых годов прошлого века или дрейфуя по волнам Балтийского моря на излёте пятидесятых, теперь уж никакой разницы нет, но колорадские жуки добрались и до наших мест. Освоив привычную им картофельную ботву, раскушали побеги тыквы, бадижанов<sup>40</sup>, редиса, сладкого перца, остро пахнущие листья помидоров и прочую питательную зелень.

Помыкавшись не одно десятилетие, люди, похоже, смирились с соседством этих заморских арестантов. Ушли в прошлое ловушки – врытые в землю склянки с керосином, не окропляют грядки вредным больше для человека, чем для жуков ядом, редко можно встретить и того, кто, кланяясь в

---

<sup>40</sup> баклажан

пояс начисто обглоданной поросли, давит прямо руками не повинных ни в чём листоедов. Ну – не умеют они есть ничего, кроме листвы! Что тут поделать? Кто на что уродился, если можно выразиться именно так, не вдаваясь в хитросплетения сквернословия!

И с этим в связи...

Почти что жизнь тому назад, в том самом 1958-м, ездили мои дед с бабой в Киев за семенным картофелем, да где там. Купить-то они купувалы, продали им задорого два мешка, да не пустили их с тем гартоплем<sup>41</sup> не то в вагон, а даже и на вокзал, ибо столь велика была напасть колорадских жуков, что стен под ними не разглядеть, кишели кишмя. Ну и привезли деды домой вместо картохи гуся и пузатый сундучок из открыток, сделанный неким болезным, что ходил по вагонам, просил купить «за ради Христа». Гуся, само собой, съели, не дожидаясь Рождества, а сундучок и по сию пору пылится на комодe, сам не знаю зачем...

---

<sup>41</sup> картофель

# Как бы не так!

– Москва-Москва! И что вы в ней такого нашли? Базарный ваш город, да и всё тут...

Гуляя по бесконечным улицам столицы, каждый последующий шаг чудится жарче предыдущего, будто земля горит под ногами, и думается – с чего бы ей с нами так, за что? Неужто потому, как суетные, поспешные шаги многих, отдаются в сердце города болью? Не для того расстелилось это место земли, разгладив морщины полей промеж холмов, дозволил тревожить себя и возводить любое, что заблагорассудится.

Вросшие в берега рек города живы, покуда жива вода, но возомнив о себе неведь что, люди отступают всё дальше от зеркал рек, истёртых течением, забывая причины, по которым заселили ими однажды планету.

Да и зря ли человечество теснится у воды, льнёт к ней, сколь себя помнит? Напрасно, нет ли, а иначе-то и нельзя никак. Только вот, отчего же, будучи соединены пуповиной воды с землёй, мы не возьмём в толк, что обязаны ей тем самым навечно, и всё чаще без уважения к ней, да спиной. А обернуться недосуг?! И часу единого не отыскать?

Но тем, кто оторвёт от жизни своей малую толику, столь-  
ный град с Москва-реки покажется немного иным. Покачи-  
ваясь в угодую волнам, посмотришь на Москву отстранёно,  
увидишь иной, вздохнёшь в такт её размеренному неглубо-  
кому дыханию, вольёшься в кровоток и почувствуешь себя  
не частью города, но им самим. Станут понятны причины,  
по которым он заставляет сторониться себя временами, но и  
манит, манит, манит... извечным своим притяжением малых  
к великому.

Москва... базарный город? Как бы не так.



# Искренне, с любовью...

Фотографии... Как-то теперь это слишком мимолётно. Бегло, быстро, лишено вдумчивости, восхищения, да разума, наконец. Утеряны ожидание и интрига на каждом последующем шаге. И если раньше тот, кто говорил, что занимается фотографией, вызывало если не уважение или зависть, но по-меньшей мере интерес, то нынче... Пустое всё. Увидел-нажал на кнопку, лишённую звука щелчка затвора, и полетело промеж нулей и единиц не откровение мгновения, но изображение под номером, который не только запомнить трудно, но даже выговорить.

...Ванная комната. В патрон вкручена красная лампа, небольшое окошко под потолком загорожено стиральной доской. Домашние предупреждены, чтобы ни в коем случае не открывали дверь и погодили с мытьём и стиркой .

– И сколько ждать?

– А сколько понадобится!

Обернув руки с фотоаппаратом старым пальто, достаю плёнку иправляю её в бачок, стараясь не напортачить, «как в прошлый раз», когда первый и последний кадры слились воедино. Хотя, бабушкин пирог на ромашковой поляне, надо признаться, выглядел довольно-таки забавно.

Ставлю бачок на дно чугунной ванны, и едва успеваю вцепиться в ручку отворяющейся двери:

– Я же просил!

– Пardon... – Извиняется отец. Именно из его рук я получил первый фотоаппарат и коробочку с плёнкой, именно он показывал мне на отснятой, при свете – что и как нужно делать.

Облегчённо выдохнув, заполняю бачок проявителем, выжидаю, промываю, закрепляю, промываю ещё раз и, заломив липкую слегка плёнку на первых двух кадрах «в молоко», вешаю её на верёвку, натянутую над ванной, зажав деревянной прищепкой...

Приоткрываю дверь, возле которой с улыбкой топчется отец:

– Можно уже?

– Заходи. – Разрешаю я, и аккуратно ухватив плёнку за рёбра, мы толкаемся подле, жадно выискивая удачно отснятое. Серебристые лица, сосны, улыбки, солнечные блики на поверхности воды...

– Нет, так не годится, всё равно, покуда не напечатаешь, не узнаешь точно, что получилось и как именно. – Бормочу я, и отец, не говоря лишних слов, идёт за табуретом, доставать со шкафа увеличитель...

Фотографии... Они объединяли нас когда-то. Задевая

плечами друг друга из-за тесноты ванной, мы следили за тем, как на белой бумаге появляются знакомые пейзажи и черты родных лиц, в обрамлении развевающихся на ветру, неприбранных волос или сделанной наспех причёске. Но глаза, что смотрели в это время с мокрых фотокарточек, всегда улыбались именно нам... Искренне, с любовью.

# Твоё дело

- Займись делом!
- Каким?
- Любым, но своим!

Дождь ли, ветер вознамерились сыграть на виноградной лозе, как на флейте. Подступались оба не враз, со всех сторон света, с неба и от земли, понавертели мелких, заметных едва, муравьиных почти норок, да принялись надувать щёлки, тшась сыграть некую прозрачную музыку, а её-то и нет! Только долгий ряд серебряных капель воды дрожат, предвкушая прикосновения ветра, уповая на то, что минет оно их, и не сбегать им по ступеням листвы к подножию стебля, а удержатся на зелёной ветке как можно дольше, с тем, чтобы воспарить к облакам с первыми лучами солнца. Ибо видывали оне, как оно там, внизу.

Вон, бабочка придавлена камнем дороги, дабы не улетила, лежит измятая, будто вышитая салфетка. И ведь кто-то оставил её так, бросил? Ну не сама же она?! А улитка, что навечно заплутала в кудельках травы?..

Или же мак, близкий земле, как и прочие травы. Чепчик из трёх оставшихся на нём лепестков насилу держится, смуг-

лые его щёки совершенно вымокли. Провожает цветок виноградным взглядом пролетающего близко шмеля, который утомлён безмерно, и хотел бы присесть, да некуда, ни единого сухого местечка, а водой он и так уже более, чем сыт. Переливается она обильно через край небес со вчерашнего заката, про который можно было только догадываться, ссылаясь на предыдущие дни, а там – как знать, – случился ли он, либо манкировал делом, и под занавесью облаков казался занят чем-то, что откладывал обычной ясной порой.

Дождь ли, ветер вознамерились сыграть на виноградной лозе... Так и мы берёмся за дело, с которым не сладим. Не от того, что не сумеем, а потому как назначено оно для иных.

## Маленькое... черное...

«У каждой девушки должно быть маленькое чёрное платье...» Мда... Коко Шанель оказалась цепкой девушкой. Собственную оригинальную внешность она приняла, как данность, с которой не поспоришь, и взяв на вооружение характер, заставила окружающих сперва молчать, а после и вообще забыть о том, что некрасива.

И это был её путь, её жизнь, следовать которому совершенно необязательно ни дурнушкам, ни красавицам, ни худышкам, ни девушкам в теле, у которых куда как больше соблазнительных черт, нежели в облике прочих.

– Имейте в виду, дамы должны быть непременно в платье! – Напомнили мне перед приёмом.

– В маленьком... чёрном? – Связвила я, но увы, сарказм был принят за чистую монету:

– Именно! – Подтвердили мне, ослабившись в полупоклоне.

Вот незадача... А у меня в гардеробе из платьев только одно, да и то, нарисованное на резиновой обезьянке с гитарой, что положил супруг под ёлочку в наш первый совместный Новый год.

Но делать нечего, пришлось отправляться в лавку, где торгуют задёшево новой и ношенной одеждой. Покрутив носом брезгливо и поворотившись округ себя самой в растерянности перед натиском многих нарядов, я почувствовала некий стыдливый зов.

Чёрное трикотажное платье с неширокими лямками и неглубоким декольте, свесив набок несорванную бирку и ценник, будто язычок, занимало плечики в самом углу стойки. Судя по всему, платье было отказано во взаимности не раз, в угоду более ярким расцветкам и вышитым наискось, от проймы до подола, цветам.

– Ну, – усмехнулась я, – иди ко мне, бедолага. Посмотрим, что из этого получится. Но учти, платья – это не моё.

Платье безмолвствовало, и дышало как можно тише, опасаясь спугнуть удачу в моём лице.

Высушив вымытую в семи водах крепко состроченную, добротную, в общем, тряпицу, я примерила её. Зеркало хотело так, что едва не треснуло.

У меня был выбор – остаться дома или пережить грядущий кошмар с достоинством дурнушки. Мной было выбрано второе, ведь именно это и называется «пустить пыль в глаза».

Вряд ли кто-то из тех, кто учтиво целовал мне на приёме руки, заметил отсутствие прилегающих обыкновенно к де-

вушке утончённых форм, но мне, – вот, как на духу! – было бы проще пройтись по залу вовсе без одежд, чем так.

Маленькое чёрное платье. Я заплатила за него 25 рублей, столько же стоили полбуханки чёрного, с тмином. Но сколь чёрных мыслей пришлось преодолеть, прежде чем я решилась надеть его, первый и последний раз в жизни.

«У девушки должно быть маленькое чёрное платье...»? С той же чрезмерной самоуверенностью, я предложила бы каждой обзавестись небольшой чёрной пишущей машинкой, непременно механической, дабы укрепить свои пальчики, которыми нужно вцепляться в бороду жизни и держаться, что есть сил.



## ... Чем питает себя земля...

Ласточка сидит под проливным дождём, провожает взглядом каждую каплю, запоминает которая уронила себя куда, чтобы после поднять, встряхнуть, дабы опомнилась, пришла в чувство... Вот она, забота! И ведь почти до манишки ласточка мокра.

Неужто всё эдак, как представляется? От того и чудится, что чудеса...

Впрочем, птица сидит не просто так на грани стыди, как на краю осени. Дитя вприглядку блюдёт, но под локоток удерживать не станет, само упадёт – само и поднимется. Милый, пухлый, раскормленный на родительской заботе птенец, сбережённый и от чужого кота, и от соседского пса-недоумка, которому, что щенок, что его мамка – всё едино, не други, а недруги.

Птенец ласточки, поперек себя шире, сидит на верной жёрдочке, держится крепко, глазки шурит, не моргает почти, старается не глядеть за тем, как небо поливает водой землю, ибо коли не видно струй, так, может, их и нет! Ан – есть! В оттопырку промежду пушком и новыми блестящими пёрышками просачивается понемногу та водица, и зябко дела-

ется от того.

Вздохнул птенец, как вздрогнул, да несмотря на то, что ещё каплю тому назад по привычке раззевал не растерявший ещё позолоты клюв, сообразил дёрнуть последний пушок из-под перьев, из-за чего и приосанился враз, и даже, кажется, повзрослел.

Ласточка наблюдает хотя со стороны, но рядом, как быстро растёт её единственное дитя. Оба с головы до хвоста мокры из-за дождя, будто в слезах. Вместе с каплями ливня падёт к ногам утра краткое наваждение беззаботности и наивности...

Так вот чем питает себя земля, – временем нашей жизни, утраченными надеждами, обретенной опытностью, что стает в свой срок, а без следа или с ним, – то зависимо не от нас, а от бремени вод, льющихся с небес. Впрочем, как и всегда.

## Вот, собственно...

Герои войн. Как-то слишком много их. Который из семейных альбомов не открой, в каждом найдётся «карточка», оторванная с одного угла или обожжённая временем, а на ней неясный образ того, кто не вернулся с войны.

– Пап, а это тоже наш родственник? Прадед?

– Где? А, это его старший сын, Сергей Романович.

– Погиб в Великую Отечественную?

– Нет, он участник Первой мировой, той, что с 1914 года.

– Там убили или без вести пропал?

– Чисто технически, на войне он не пострадал, но в действительности его убила именно война.

– Это как?

– После возвращения домой выкупался в бане и умер.

Царство ему небесное.

– И... это всё?

– Чего ж тебе ещё?

– Ну – каким его запомнили, чем занимался, кого любил!

– Ого! Так нет уж в живых никого из тех, кто знал про это.

Да и не успел Сергей Романович ни дела сделать, ни полюбить. Молод ещё был...

– А кем, хотя бы, хотел стать?

– Что ж ты меня спрашиваешь, коли я не знаю. Ну, мо-

жет, столяром, как отец, или кем-нибудь ещё. Теперь-то какая разница? Любая война многих оставляет в прошлом.

...Луна серебристым стеклянным шариком висит на заснеженной еловой лапе облака. Ей недосуг вникать в то, что происходит внизу, на земле, у неё на виду. Забота луны – морские приливы с отливами, ну, может, ещё – строй рифм, сноровка подчеркнуть некие, неочевидные при дневном свете достоинства всех и вся, да редко – выбелить одинокому путнику тропинку глубокой, словно омут, ночью. Вот, собственно, только это, а больше – ничего.

## Зачем и почему...

Белый свет утра, возожжённый рассветом, хотя и ясен, но бледен всё одно. И будущее в этот самый час ясно, да озабочено лишь собой и тем, какую память оставит по себе, когда ввечеру ты притушишь мокрым пальцем свечу у изголовья, и уткнувшись носом в прохладную щёку наволочки, прикажешь глазам закрыться до рассвета. Раскачиваясь в колыбели полусна, будто бы в вагоне, какие видения промелькнут тогда перед окном твоей дрёмы?

Раннее утро. Бра горизонта, заросшее листвой, как пылью, плохо пропускает цвет. Янтарная, масляная капля солнца взмывает все выше, разматывая махровые нити лучей, словно клубок крашеной луковой шелухой собачьей шерсти. И вот уже, зацепившись за занозистую макушку сосны, развеваются лохматые нитки по ветру, во тщании удержать, остановить ход светила, совместно с течением дня.

Полдень. Виноград, сытый влагой, как обещаниями, что накануне щедро раздавал ливень, удерживает воду горстями широких листьев, дорожа всякой каплей, которую удалось ухватить. Ибо вряд ли небо проявит столь весомую щедрость вскоре, а солнце по любому заставит делиться с ним большею долей. И попробуй тогда не отдать – не спросит, но мол-

ча, опалив гневливым оком, отымет само.

А под горкой дня, ввечеру, – всё наспех, кубарем, одно за другим: и пряный дымок закипающего на сосновых шишках самовара, и закапанная калиновым вареньем скатерть, и извечное недовольное вниманием пыхтение ежа под столом...

Наше время. Куда торопиться оно... Бежит за кем? Да так уж ясно, что за нами... неведомо только никому, – зачем и почему.

# Анодонта

42

Свою первую и последнюю лекцию в университете я прочитал, будучи сам студентом второго курса неназванного выше учебного заведения. А дело было так...

Февраль того года ретировался раньше обыкновенного. Реки засахарились тающим льдом, и стараясь скрыть непривычную об эту пору наготу, тянули на себя прозрачную ки-сею тёплого воздуха с поспешностью угловатой, стыдливой от того гимназистки. Туристы тоже торопились воспользоваться спутанностью счёта мироздания, и в первый же выходной рванули «на природу», сплавливать байдарки с течением, от промоины к промоине, со счастливыми, безотчётными улыбками на лицах.

Домой туристы вернулись с белыми ладошками, наполовину загорелыми лбами, румяными обветренными щеками, но без одной посуды, которую утопили, перевернувшись при столкновении.

Утром понедельника, упросив помочь достать судёнышко

---

<sup>42</sup> Анодонта – (*Anodonta*, или беззубка) – пресноводный двустворчатый моллюск сем. *Najadae* s. *Unioindae*, отличающийся от родственного р. *Unio* (перловицы) тем, что замок раковины лишен зубов.

из-под воды, туристы привезли нас с отцом на гладкий, отутюженный сугробами берег, и указав пальцами в сторону реки, нестройным хором огласили окрестности:

– Вот, где-то здесь!

Покуда мы сосредоточенно облачались в лёгководолазное снаряжение, туристы с рассеянным видом бродили туда-сюда, то и дело мешаясь под ногами. Ну, ещё бы, – сезон ещё не начался, а каяку<sup>43</sup> уже каюк. Нехорошо...

Защёлкнув на поясе пряжки со свинцовыми грузами, с ластами в руках и баллоном акваланга за спиной мы начали спуск к воде.

– Ну, вы ж найдёте, правда?.. – Жалобно поинтересовался нам в спину турист, в миру слесарь четвёртого разряда, с огрызанными до мяса ногтями и лицом Дина Рида.

– Там будет видно! – Рассудительно ответил отец, сплёвывая на стекло маски, а я промолчал, ибо немного волновался, так как это было первым для меня погружением в такое время года, – не под лёд, конечно, но что-то вроде того.

Расталкивая свободно плавающие куски льда, мы опустились на дно реки и, приглядывая друг за другом, двинулись по течению.

---

<sup>43</sup> исконное название байдарки



– Всё в порядке? – Жестом спросил отец, я улыбнулся одними глазами и подтвердил, что да. Холодная вода была прозрачной, и не мешала рассмотреть, как это обычно случается летом, что там впереди и куда это она так спешит, не прерываясь ни на минуту.

Байдарка нашлась быстро. Если бы не зацепившийся за корягу линь, то течение увлекло бы её под подол нестаявшего ещё льда, а там – как знать. Но туристам повезло.

Пока отец вязал морские узлы на корме байдарки, всё также жестами, я отпросился у него пошарить по дну. Очень уж хотелось увидеть того, кто исчертил замысловатыми письменами песок. Автор тех загадочных строк – пресноводная ракушка, оказалась тут же, за углом, в тени мерцающих в такт течению водорослей она, вероятно, обдумывала сюжет очередного рассказа.

Слегка приоткрытый моллюск был необычайно велик, почти что с русский фут<sup>44</sup>. Не раздумывая долго, я ухватил его поперёк раковины, и увлёк за собой на поверхность, вслед за всплывающей вверх-дном байдарке. Взметнувшийся пылью песок на дне, было последним, что видел моллюск, захлопнувшийся в последний момент своей жизни на манер карманного томика стихов.

---

<sup>44</sup> 1фут = 30,48 см

Несколько часов спустя, в пропахшей формалином аудитории я с воодушевлением препарировал беззубку, наглядно показывая зевающему от равнодушия студенчеству прозрачный пищеварительный хрусталик пресноводного моллюска.

– Удивительно! Впервые вижу это в живую! – Наивно восхитилась внимавшая мне профессор, чем моментально расставила всё по своим местам.

Я устыдился происходящего. Я разозлился на себя, потому как вырвал, похитил не умеющее постоять за себя живое существо из живой воды и умертвил собственными руками. Ни для чего. Зазря. Этим не спас ничьей, более ценной (?!) жизни, и ничему не научил тех оболтусов, дремавших на студенческой скамье, в ожидании перерыва. Тем самым я лишь проучил и наказал самого себя. Да стоила ли малая толика того поучения, чтобы так нелепо прервалась судьба удивительной ракушки. Ведь из описанных когда-либо её сородичей, доселе не удавалось никому встретить прожившую<sup>45</sup> столь же долго и столь же счастливо, как она.

---

<sup>45</sup> Беззубки (лат. Anodonta) – род пресноводных двустворчатых моллюсков семейства униионид (Unionidae); размер самой большой из описанных не превышал 20 см

# Родители

– Как же тебе объяснить-то...

– Ну, ты уж попробуй как-нибудь!

– Так мы с тобой на разных языках разговариваем. Слова-то, вроде, одни и те же, а смысл разный.

– Не преувеличивай! Погляди-ка, лучше в окошко. Видишь, ласточки?

– И что там с ними? Птицы, как птицы. Летают туда-сюда, будят на рассвете своим чириканьем. Жду не дождусь, когда уж они от нас съедут, наконец.

– Во-первых, ласточки не чирикают, а во-вторых, неужели ты не понимаешь, чем они заняты?

– Понятия не имею! Я не птица, чтобы разбираться в подобной чепухе. Нет у меня ни клюва, ни крыльев!

– Насчёт клюва я бы поспорил, а вот относительно крыльев ты совершенно прав.

Ласточки. Отец и мать. Суеются подле своего ребёнка. То снимут пушинку с пухлого плеча, то мушку поднесут: «Открой ротик, скажи «А-а-а!»». И всё для того, чтобы был уверен в себе, как в них. Время от времени родители хвалят сынишку: «Да какой же ты умничка!», а после с призывом: "Делай, как я!", в котором и страх за птенца, и едва заметное понукание, срываются влёт, к воде, с надеждой поглядывая

на меня в окошко, дабы выудил ребёнка, если что, как бывало уже не раз.

Напротив дома через дорогу – карусель отломанной макушки несломленного до конца ясеня, – рано радовался ветер, он ещё обростёт. Резвятся на нем дрозды, обучают свою малышню уворачиваться. Покуда от хлётких веток, а там и от прочих ударов судьбы.

Родители... Они ж недаром таковы, ибо радеют за нас, детишек, и собственным примером вручают то умение в наши руки, дабы передать дальше, чтобы недаром всё, не попусту эта, начавшаяся некогда, череда рождений и...

– Займёшься ты ребёнком, в конце-то концов?!

– Некогда мне! Не-ког-да!..

# Разве это возможно

Крона леса словно бы покрылась ржавчиной. То ли от сырости вечерней, то ли вымазалась в краске пробивающихся сквозь створку горизонта солнечных лучей. Выпитый почти до самого дна день, над которым кружили рыбками раскрученные горячей ложкой солнца чайники облаков, остывал понемногу, так что его уже можно было удерживать в руках, и не ожечься.

Хорошо, если мгновения всякого дня выходит разложить перед собой, как перенявшую жар полдня морскую гальку, рассмотреть каждый камешек, коснуться белого тонкого налёта соли, прижаться щекой, дабы ощутить стёртую волнами, ноздреватую кожу, мерцающую затаённой неглубоко слюдой, творящей изо всякого почти побережья свой блистающий мир. Сидишь, шуришься на слепящую воду и прильнувшее к ней небо. Случается, что солнцепёк тушется ненадолго перед тучами, чем кому-то даёт передохнуть, зато иным позволяет лучше понять прелесть безудержного небесного сияния.

– Коротко лето, не правда ли? – Подаёт голос некто, с ног до головы прикрытый пляжным полотенцем.

– Как жизнь... – Ответвую я, пожимая обгорелым, ше-

лушащимся, на манер сосновой коры плечом.

– Ну что вы, право! Не идёт ни в какое сравнение! – Возмущается случайный сосед и садится, да так скоро, что прилипшие к спине плоские камни не успевают осыпаться, отчего он делается похожим на черепаху.

– Так ли? Рассудите сами! – Сдерживая улыбку, отвечаю я. – Готовимся к настоящей жизни, как к лету, а она и есть та самая с первого мгновения, ну и опалит запоздалым озарением про то, так что носишься после с ожогом до последнего, да воздыхаешь, как оно было... тогда. Не успеваешь порадоваться. Всё в тоске и печалях.

– А если и так, что ж теперь? – Лениво пугается собеседник.

– Радоваться надо!

– И чему же? – Зевает он.

– Всему! Каждому дню, что дан. Ибо жизнь, она известно чем заканчивается.

– Да уж. Ничем.

Славно оно, эдак-то рассуждать о бренности на морском берегу, вдыхая звуки и прислушиваясь к запахам, полагая, что это будет длиться, если не вечно, то уж точно – ровно столько, сколько захочется.

– Пока не надоест?

– А разве это возможно?

– Что?

– Да наскучило чтоб...

# Если присмотреться...

Цветок цикория прозрачен на просвет. Все его намерения на виду. Никаких тайных замыслов и скрытых от мира притязаний. Одно только тревожит его – слишком уж мал и незаметен след, что оставляет он на земле. Так – наподобие муравьиной норки, с пристыженной, осаженной дождём шепотью песка подле, кой пробиваясь к свету вытеснил некогда собой стебелёк. Только и всего.

– Тебе-то хорошо-о! – Позавидовала цветку муха, и поворотила не туда, – заместо сада к крыльцу, да с перепугу заметалась, замешкалась, задержавшись на пороге, отчего застряла в щели между ненадолго приоткрывшейся зачем-то дверью и притолокой.

Тщится теперь муха вырваться, зудит, взывает напрасно, в ожидании покуда откроет кто двери, вызволит её, бедолагу. В пристенных стенаниях мухи слышится явственно: «Вам то что-о-о... хорошо-о-о...», из-за чего жалко делается ту, которую в иной час не то пожалеть – прибить хочется из-за ея назойливого нрава, дерзости и бесцеремонности.

– Ну, куда, куда в варенье-то! Не для тебя поставлено! –



Кричишь этой мухе<sup>46</sup>, что вовсе не пчела, да после вычерпываешь ложкой из розетки в рукомоёйник, где ступали её стройные щекотные лапки. До самого дна.

А цикорий, тот, что луговник, али петров батог, – тут уж кому какое прозвище по нраву, – так и стоит в раздумьи, – на что сгодятся его ровные голубые отрезы с бахромой. Тем же временем, его корень, похожий на полый рог быка, наливаются силы, дабы оказаться полезным позже, когда ветер смешает лепестки цветов с небом и унесёт их в извечно милое прошлое.

Ну, так всякому на всё – свой интерес, редко бывает иначе. Это только на беглый взгляд округ одно похоже на другое, а если присмотреться...

---

<sup>46</sup> в некоторых местах мухой называют и пчелу

# Отражение

Однажды вечером, сочтя тета-а-тет с луной довольно удачным, я принялся читать вслух пришедшие на ум стихи, дабы проверить их на созвучие своим чувствам, что вырвались на свободу, спешно понукая коней рифмы. Собака, что до той поры спала глубоким, беззаботным сном, бегая наперегонки со своею предшественницей, почившей моей любимицей, немедленно проснулась и залаяла. Лаяла она громко, с поднятым загривком, проникновенно и даже злобно. Сперва я не понял, что так напугало её и перестал декламировать. Стихи спешили, строфа к строфе, в ожидании, когда я продолжу. Переведя дух, я начал снова... Собака зарычала, у меня моментально озябла спина и я замолк.

Но не пёсий рык заставил меня похолодеть, но другое, – звуки собственного голоса. Тот неожиданно приобрёл тембр и окраску... да куда там! – что за околичности перед самим собой, – я вдруг осознал, что читаю голосом отца, умершего чуть больше года тому назад.

Ни теперь, ни раньше я не пытался ему подражать. Это было бы нелепо. К тому же, все говорили, что я похож на мать, и лицом, и фигурой, и многие путали наши с нею голоса не раз. Так отчего же теперь случилось ...это?

Из опасения показаться нездоровым, я никому не говорил про то, что произошло. Если бы я был в тот вечер один, то счёл бы, что мне показалось, но реакция мирно спящего пса решила всё дело.

Носить в себе такое, не поделившись ни с кем сомнениями – задача не из лёгких, а посему, однажды, в беседе с товарищем я посетовал, что «распадаюсь на родительские части».

– Что ты имеешь в виду? – Заинтересовался тот и не помедлив ни минуты, я выложил всё, как есть.

– Ничего удивительного. – Развёл руками товарищ. – Так бывает, и довольно-таки часто. Ты тяжело пережил смерть отца...

– Да не пережил ещё! – Вставил я со слезами в голосе.

– Тем более. – Попытался успокоить меня друг, и опережая мой вопрос, добавил, – Ты не сошёл с ума, то, что произошло, называется отражением.

– Как это?

– Почитай, если тебе интересно.

– Ещё бы!

– Ну, таки вот...

Возвратившись домой, я вновь раскрыл тетрадь со стихами, и принялся читать вслух. Голос отца, что зазвучал вновь, в этот раз не напугал меня. Я старался запомнить, услышать его, как можно лучше, подробнее, но от внезапных рыданий

заложило уши, словно ватой. В этот раз собака не спала, и сразу узнала голос отца. Подойдя ко мне, она положила голову на колени, тяжело вздохнула и прикрыла глаза, ибо тоже любила его. Быть может, даже больше, чем меня.

# Чужие милые края...

Коли говорят про Родину, всякий раз тревожат воспоминаниями мираж березняка. Но берёза, где бы не росла, сжигает в ладони корней горсть родной земли только там, где ты родился. В чужих краях – чужую землю, милую и дорогие прочим. Нам же – своя.

Дождик плеснул округе в чашу воды, солнце услужливо нагрело её, а цикорий насыпал немного узловатых, подагрических на вид веток, от щедрот своих, из-за чего стало пахнуть чайной или воскресной баней, куда ходил в детстве с отцом, или даже рождественским Сочельником, когда всё подле празднично, ярко и сытный дух бодрит не хуже морозца.

Виноград при каждом удобном случае треплет по макушке проходящих мимо, вплетает свои кудряшки в их волосы, а бывает так, что оставляет мелкие нежные полукружия в причёске, куда после устремляются шмели, зависают над головой ненадолго, и уяснив, что обознались, удаляются с возмущённым гудением:

– Ну как это так! Тратить моё и без того золотое время на пустяки?

Вяхирь, измучившись со своею непоседливой детворой, потеряв счёт дням и перепутав день с ночью, усердно баюкает окрестности диким голосом, охватывая их все, от края до края, от близка до издали, заодно поддакивая шмелю. Хотя голубю спросонья уж всё одно, но стороннее усердие ценить он умеет, ибо сам не слишком в том хорош.

Дождь моей Родины, наполняя посудины луж, льёт всем поровну, поднакоток<sup>47</sup>. Солнце одинаково согревает всех и будит, разглаживая плиссе бутонов цикория поутру, не разбирая, – в котором из мест пустил он свои корни. Но, как и прежде, – в чужих краях – чужие земли, милые и дорогие прочим. Нам же – только свои.

---

<sup>47</sup> доверху, до края, вот-вот и перельётся

## Один славный день...

В квартиру постучали. Не то, чтобы настойчиво, но дробно, чётко, громко. Тот, кто стоял по ту сторону двери, явно был в своём праве. Даже не спросив, «Кто там?», я поторопился отодвинуть засов. На пороге стоял почтальон, хмурый на вид дядька с тяжёлой сумкой через плечо.

– Есть кто дома из старших? – Спросил он.

– Нет... – Помотал головой я, и тут из комнаты, с привычной, хитроватой улыбкой на лице и синеньким горшком в руках, вышла бабка.

– Нехорошо... – Насупился в мою сторону почтальон, и окслабился, обращаясь к бабке:

– Гражданочка! Примите заказное, распишитесь!

Гремя крышкой эмалированной ночной посуды, бабка испуганно заторопилась в сторону туалета.

– Гражданочка! – Возмутился почтальон. – Задерживаете! Вы не одна!

Отодвинув меня в сторону крепкой рукой, служащий почты шагнул по коридору в сторону старушки, на что та отреагировала неожиданно для нас обоих:

– Убивают! – Закричала она и бросив к ногам почтальона

горшок, заперлась в своей комнате, но, судя по звукам, осталась стоять подле двери.

Сняв фуражку, почтальон отёр клетчатым платком шершавую даже на вид, всю в веснушках, лысину и сокрушённо покачал головой:

– Ну, дела, хорошо, хоть не полный, но мне-таки надо, чтобы кто-то расписался за получение!

– Так давайте я... – Нерешительно предложил я.

– Делать нечего, видимо, придётся. – Вздохнул почтальон, протянув мне чернильный карандаш и почтовый бланк:

– Рисуй свою фамилию, адрес и распишись.

– Я только полной фамилией могу, подпись ещё не придумал, ничего? – Спросил я почтальона, и он махнул рукой:

– Сгодится. Делай, я и так тут у вас задержался.

Пока я старательно выводил буквы, бабка скрипнула дверью, выхватила из моих рук карандаш, поставила на почтовом бланке крестик, и вновь заперлась. Почтальон уставился на крестик, и поинтересовался:

– Это что?!

– Да, бабка не умеет писать. Расписывается крестиком.

– Ну и дела! – Изумился почтальон. – Давненько такого не видывал. – И протянув мне конверт с заказным письмом, вышел вон.



...В 1921-м, в Вышнем Волочке бабка служила у нэпмана и нянькой, и мамкой, и прачкой. Привыкшая к труду с малолетства, знавшая ремесло, она кружилась по хозяйству от утра до ночи. Наниматели бабки, люди небедные, а порядочные, хотя трэфного не едали, ценили свою помощницу не только по субботам, но и во все прочие дни. Тронутые скромностью и усердием работницы, те люди решили принять участие в судьбе не юной уже девушки. Перво-наперво выучили читать по слогам, с письмом, жаль, не вышло, решили «оставить, как есть». Выпроваживая девицу на танцы каждую неделю, наряжали прилично, напутствуя встретить «порядочного надёжного человека». Так и выдали её замуж за военного. Бабка всю жизнь после поминала их добрым словом и прозрачной слезою.

...Не ведал про то почтальон, да и не узнает никогда. Самто он, впрочем, прошёл, как говорили «три класса и коридор» церковно-приходской школы, никаких наук не осилил, хотя почерк имел твёрдый, с наклоном влево, что выдавало в нём несогласие с устройством его жизненного уклада. Бабка же, пусть и подписывалась крестиком, а прожила со своим дедком в любви и согласии, как за каменной стеной, и считала себя счастливой до самого последнего дня.

Я так и вижу её, сидящей бок о бок с дедом на высокой кровати. Ноги не достают до пола у обоих. Дед прячет улыбку в усах, а бабка открыто хохочет, залиvisto так, будто дитя:

– Быстро время бежит. Раз – и всё, нету его. И всё-таки, я везучая!

Именно тем и попрощалась она со мной. Пролетели её девяносто два годочка, словно один славный день.

# Лето будет снится...

Лето будто снится. Чудится! Смотришь на него через смежённые медовым духом разнотравья, осоловелые от того века, щиплешь себя за щёки, дабы проснуться и разглядеть получше, а там уж и нет его, – осень морщит некогда гладкий лоб вод.

– Рановато что-то, вам так не кажется?

– Да, чего уж там, совершенно с вами согласен.

Мокрые травы кудрявы, ветви дерев спешат примерить все, какие ни на есть у дождя серьги и нити бус. Только вот... жаль, – рвутся ожерелья в спешке, роняют деревья на землю жемчуга и бисер, стеклярус и аквамариновые бусины, но мало всем всего. Одним желается нарядов поболее, другим – украсить всех, кого только возможно.

Дождь уходит, но не изорванной дорогой, в синих клочьях луж, а лесом, где он вкусно и долго шлёпает босыми пятками по блестящей коже листвы, задевает серебристые от воды сосновые, будто меховые лапы, из-за чего его одежда скоро делается холодной и липнет к плечам.

– А ведь недаром сосновые ветки – лапник!

– Совершенно верно, но одно меня смущает... разве у до-

ждя есть плечи?!

Где-то недалеко, набрякшее от воды дерево споткнулось о ветер и рухнуло с тупым конечным стуком из-за которого собеседники вздрогнули и переглянулись:

– Всякий раз жаль. – Вздохнул один.

– Новое вырастет! – Возразил другой, и – вот она, причина очередного спора:

– В том-то и дело, что новое дерево, не такое, как прежде. Называться только будет похоже, а так, – и виду иного, и характера.

– Да какое там, не сочиняйте! Откуда в дереве характер!? Оно ж неодушевлённое!

– Это вы, батенька неодушевлённый, простите уж мне мою дерзость, но опостылело терпеть эти ваши крайне невежественные замечания...

Мы теперь оставим героев, что навещают нас в наших грёзах. Они, словно добро и зло, населяющие разум, разубеждают друг друга в чём-то изо дня в день, помогая нам не лишиться нравственных человеческих свойств, но укрепиться в них, окончательно и бесповоротно.

А лето? Оно-таки будет сниться вновь и вновь...